

К 100-летию А. И. Солженицына

Вячеслав ВЛАЩЕНКО

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Свет живой истины
и трагический мрак мертвой правды

1.

Тема «Солженицын и Шаламов» все еще остается настолько взрывоопасной, что возникает такое ощущение, как будто, приступая к ней, ты сразу оказываешься на заминированном поле, усыпанном раскаленными осколками уже разорвавшихся мин, и каждый твой шаг босиком по нему связан с угрозой если не мгновенного взрыва, то неизбежных кровавых порезов ног.

И возникающая острая **боль** в меньшей степени связана с именем **Александра Солженицына** (1918–2008), «одной из самых могучих фигур за всю историю России» (В. Распутин), великого христианского писателя¹ (ставшего великим не только благодаря редкому природному дару, но и титаническому, многолетнему, каждодневному трудничеству, огромной силе воли, неисчерпаемой энергии, поразительной целеустремленности), «светоносца» (А. Ахматова) и духовного труженика, художественное и публицистическое слово которого пробуждает мысль и силу духа, заложенную в самой природе человека, возрождает веру в духовный смысл нашего бытия и в то же время обращенное к совести человека, врачует беспокойную душу читателя-единомышленника (воспринимающего жизнь и как драгоценный дар, и как необходимый долг) и этим вызывает у него чувство глубокой **радости** и искренней благодарности.

Вячеслав Иванович Влащенко — литературовед, методист. Автор трех книг («Проблема литературной преемственности на уроках внеклассного чтения в старших классах» (Л., 1988), «Уроки литературы в выпускном классе» (в соавторстве с Г. Н. Иониным; СПб., 2009), «Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“» (СПб., 2014) и более 120 публикаций о русской литературе XIX–XX веков в сборниках трудов ИМЛИ («Московский пушкинист». Вып. V, 1998; Вып. X, 2002; Вып. XII, 2009), ИРЛИ (Пушкинский Дом), СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена; в журналах «Social Sciences» (2015, № 2), «Вопросы литературы» (1998, № 6; 2004, № 4; 2014, № 6), «Нева» (2005, № 12; 2014, № 10; 2016, № 3, 4; 2017, № 3), «Литература в школе», «Русская словесность», «Литература», «Начальная школа».

¹ Называя Солженицына таковым еще в 1970 году, в своей первой из восьми статей о писателе, А. Шмеман прежде всего имеет в виду то «восприятие мира, человека и жизни, которое в истории человеческой культуры родилось и выросло из библейски-христианского откровения о них и только из него <...> триединая интуиция сотворенности, падшести и возрожденности <...> именно эта интуиция лежит в основе творчества Солженицына» (Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947–1983. М., 2009. С. 767).

Но, к горькому сожалению, бесчисленное количество раз злорадно и сознательно оболганного, оклеветанного в многочисленных статьях и книгах вчерашних и сегодняшних «образованцев» и «наших плюралистов» всех мастей (напоминающих «либеральную саранчу» из «Красного колеса») как в своей стране, так и на «демократическом» Западе², «критиков» и «разоблачителей», так неумно, неистово **ненавидящих** его³, начиная с 1962 года (когда в «Новом мире» был опубликован «**Один день Ивана Денисовича**») и достигнув пика в 1974 году (когда Солженицына насильно выслали из страны), ненавидящих по нынешнее время; ненавидящих **писателя**⁴, который «олицетворяет Россию, ее прошлое, настоящее и будущее» (В. Страда) и является «служителем Духа в русском народе» (А. Зубов), писателя, у которого «на России и религии зиждется все его творчество» (Н. Струве), писателя, творчество которого есть «некое чудо совести, правды и свободы» (А. Шмеман); ненавидящих **человека**, который еще в 70-е годы обратился с нравственным призывом «**Жить не по лжи!**» и встать на путь искреннего раскаяния и очищения, строгого самоограничения и глубокого духовного развития, обратился ко всей стране и каждому совестливому человеку. И этот призыв остается актуальным и сегодня, останется таковым и всегда. По сути, смысл этого призыва раскрывается в словах архиепископа Иоанна (в миру Д. Шаховского; 1902—1989): «Если скрылась от нас, зашла солнечная воля Божья, надо направлять свой путь „по звездам“ (по заповедям) и „по месяцу“ (совести)»⁵.

О себе, о своем мировоззрении и гармоническом мироощущении, очень точно и ясно Солженицын сказал в «**Нобелевской лекции**» (1972), сказал как о художнике, который

знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его⁶.

Можно говорить о совершенно разных причинах «открытой и ползучей ненависти» (Л. Чуковская) слепых и глухих к истине людей. Александр Твардовский (1910—1971) в своем дневнике в 1967 году пишет о «ненависти начальства и открытых его против-

² «Две мировые силы — одновременно, сплющивая меня!! Вот это и есть: промеж двух жерновов. Смолоть до конца! <...> Не рассчитали противники, как остойчив мой характер, я — гнанный зверь. Этот шквал я переставал спокойно. <...> Ну что ж — пожили в славе, проживем и в поношении, для души полезно» (Солженицын А. И. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания // Новый мир. 2001. № 4. С. 111, 118).

³ Биограф писателя Л. Сараскина, отмечая, что «Солженицын — одна из самых оклеветанных фигур своей эпохи», говорит о «ненависти, идущей одновременно с разных сторон»: и западных либералов (оскорбленных «его взглядами, мировоззрением, моральным и религиозным подтекстом сочинений»), и русских националистов («не стал идеологом „Великой России“, Империи»), и коммунистов (откуда раздаются «голоса самой неистовой, порой истеричной критики, пытающейся опровергнуть цифры, смыслы, цели „Архипелага ГУЛАГ“» (Сараскина Л. И. Солженицын и медиа в пространстве советской и постсоветской культуры. М., 2014. С. 12, 13, 418, 424).

⁴ Американский политолог Д. Махони, автор книги «Александр Солженицын: От идеологии вверх» (2001), утверждает, что «трудно представить себе другого выдающегося писателя, чьи мысли и личность за последние тридцать лет подвергались бы столь же злостному извращению и поношению» (Солженицын: Мыслитель, историк, художник. Западная критика, 1974—2008. М., 2010. С. 8).

⁵ Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 342.

⁶ Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 8.

ников в литературном мире, а также затаенном злорадстве тех литераторов, что не прощают ему его таланта, удачи, иной природы его личности»⁷. И Н. Струве (1931—2016), французский русист, издатель и друг Солженицына, в 1980 году на вопрос: «Чем объясняется такое неблагоприятное, а потому и неблагоприятное отношение соотечественников к писателю, изменившему своим словом сознание современников в мировом масштабе?» — дает психологическое объяснение: «Всякое художественное явление, резко из ряда вон выходящее, вызывает зависть некоторых, обиды близких и друзей, безотчетное раздражение обывателя. Внимательный разбор антисолженицынской литературы обнаруживает, что она почти вся замешана на психологической почве»⁸.

Выдающийся богослов XX века Александр Шмеман (1921—1983) в своей последней статье о Солженицыне в 1979 году дает более глубокое объяснение ненависти «соотечественников», их «очевидной неспособности или нежелания услышать <...> самое главное в нем»: «...воспринимают инстинктивно его творчество как опасное, разрушительное для себя, своих убеждений, своего миропонимания»⁹. Это А. Шмеман связывает и с «необъяснимой ненавистью именно к христианским корням культуры», с «богоотступничеством культуры»¹⁰.

Сам Солженицын эту ненависть лично к себе в блистательном эссе «**Наши плюралисты**» (1982) связывает с ненавистью либеральной интеллигенции к православию, к России и русскому народу, с отрицанием «*плюралистами*» Божьей истины и утверждением множественности истин, что ведет к «*потере различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом*»¹¹.

А на Западе, по мнению американского литературоведа Э. Эриксона, главной причиной ненависти и «отрицательного восприятия Солженицына в очень большой степени стали идеологические предубеждения, основанные на установках западного светского либерализма»¹².

Мучительная **боль** (о которой было сказано в начале статьи) в гораздо большей степени вызвана именем **Варлама Шаламова** (1907—1982), вероятно, самого мрачного и безысходного писателя в русской литературе, создателя не столько «*новой*», сколько «**мертвой прозы**» (именно в этом и состоит ее «*художественная новизна*»¹³), «великого мученика» (А. Немзер) и талантливого писателя, «**жесточкого писателя**» (Л. Тимофеев) с трагической судьбой, сумевшего воплотить в слове свой бесконечно страшный опыт и создавшего скорбные, беспросветные «Колымские рассказы»¹⁴; **человека**,

⁷ Твардовский А. Т. Новомирский дневник: В 2 т. Т. 2: 1967—1970. М., 2009. С. 44.

⁸ Струве Н. А. Православие и культура. М., 2000. С. 76—77.

⁹ Шмеман А., прот. Указ. соч. С. 814.

¹⁰ Там же. С. 771.

¹¹ Солженицын А. И. Публицистика. Т. 1. С. 408.

¹² Солженицын: Мыслитель, историк, художник. С. 198—199.

¹³ Проза Шаламова, по мнению И. Роднянской, «при ее чрезвычайной смысловой и гражданской силе, остается по преимуществу эстетическим актом, рожденным ввиду личной потребности...» (Роднянская И. Лирико-патетическое начало в «Архипелаге ГУЛАГ» // Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к «Красному колесу». М., 2013. С. 338).

¹⁴ Ср. разные высказывания и оценки: «Гениальный художник <...> его проза действительно нова и принципиально не похожа на все, что было в мировой литературе до сих пор», и составляет «духовное сокровище России» (Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы // Октябрь. 1991. № 3. С. 182, 195); «...это высокоинтеллектуальное повествование о духе победившем» (Жаравина Л. В. «И верю, был я в будущем»: Варлам Шаламов в перспективе XXI века. М., 2014. С. 64, 143); «Шаламов — гениальный несостоявшийся писатель. <...> Подлое время нам оставило черновики, наброски, заготовки <...> Пяток, десяток, не больше, готовых вещей. Совершенных! Все прочее в движении, в процессе...» (Солоух С. Время Шаламова // Октябрь. 2006. № 3. С. 179 — 181); «Неизвестно, достиг бы Шаламов как писатель тех вершин, что достиг, если бы его миновала горькая чаша лагерной одиссеи,

очень рано отречься от Бога и поэтому, наверное, никогда не произносившего спасительную молитву преподобного Иоанна Златоуста: «Господи, избави мя вечных мук»; **человека** с поврежденным сознанием и искаленной психикой, с надорвавшейся и обессиленной душой, но в которой все-таки до последнего сохранялся слабый, угасающий свет последних усилий по созданию стихов. Кажется, что Шаламов еще в одном из своих лучших рассказов — «**Шерри-бренди**» (1958) — описал не только смерть Мандельштама, но и будущую собственную смерть:

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами¹⁵.

И в этом видна высокая человеческая трагедия художника, в душе которого место Бога занимали стихи, место религии занимала поэзия. Как отмечает О. Волков (1909—1996), автор книги «Погружение во тьму», на Колыме Шаламов «выстоял, у него хватило сил, чтобы остаться человеком — вопреки ожесточавшим и принижавшим условиям. Однако ценой веры в возможность торжества добра, ценой отчуждения от людей»¹⁶. По словам И. Шайтанова, «Шаламов вернулся физически и духовно потрясенным. Он прожил оставшуюся жизнь с лагерным ужасом — в памяти и в душе <...> Шаламов — Кафка лагерной жизни, подобно австрийскому писателю, явивший ужас бытия в середине XX века. В этом его величие как писателя и человека»¹⁷.

В состоянии непомерной гордыни в 1971 году Шаламов делает запись: «Если бы я умер — причислили бы к лику святых» (5, 319). И. Сиротинская уже через много лет после его смерти, явно идеализируя писателя (при наличии в ее книге и других, более ранних и реальных, его характеристик¹⁸) и обесценивая слово, утверждает: «Я могу сказать — он был лучшим из людей XX века. Он был святым — неподкупным, твердым, честным — до мелочи — благородным, гениальным прозаиком, великим поэтом»¹⁹. Однако отметим, что на библейском языке «святой» значит тот, который принадлежит Богу, посвящен Богу, служит Богу.

Б. Лесняк (1917—2004), товарищ Шаламова по Колыме, в воспоминаниях, вызывающих доверие, отмечает:

Характер у Варлама Тихоновича, конечно, отцовский — талантлив, честолюбив, тщеславен, эгоистичен. Я затрудняюсь сказать, чего больше. К этим чертам еще можно прибавить злопамятность, зависть к славе, мстительность. <...> Были в его послелагерной жизни периоды, когда он считал, что славу и бессмертие, к которым он с детства стремился, принесет ему проза — его «Колымские рассказы» в первую очередь. Порой он отдавал приоритет своей лире. Варлам был очень чувствителен к славе и безрасудно ревнив²⁰.

со столь яркой, грозной, вопиющей, непривычному уху и глазу фактурой» (Лесняк Б. Дорога и судьба Варлама Шаламова // Открытая политика. 1999. № 1—2. С. 96).

¹⁵ Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 2004—2005. Т. 1. С. 102.

¹⁶ Волков О. Наша боль и вина // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 43.

¹⁷ Цит. по кн.: Есипов В. В. Провинциальные споры в конце XX века. Вологда, 1999. С. 231.

¹⁸ «Честолюбец — цепкий, стремящийся укрепиться в жизни, вырваться к славе, бессмертию. Эгоцентрик. Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа. <...> Он жаждет славы, денег — золотого дождя» (Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006. С. 7, 51).

¹⁹ Там же. С. 167.

²⁰ Лесняк Б. Указ. соч. С. 94, 95.

Может быть, самые пронзительные слова к столетию Шаламова сказал **А. Немзер**, воспринимающий его «колымскую» прозу в большей степени как страшный исторический документ, а не произведение искусства. На вопрос, поставленный еще в начале 90-х годов прошлого века Л. Тимофеевым, о том, «вправе ли мы <...> толковать о творческой манере, о художественных открытиях» Шаламова²¹, автор статьи фактически дает отрицательный ответ:

Читать Варлама Шаламова страшно, не читать — **стыдно**, а обсуждать — стыдно втройне <...> Подходить к «Колымским рассказам» и другим созданиям Шаламова с религиозными, философскими, литературными мерами **нельзя**. Просто нельзя. По крайней мере нам. Нас там не было. <...> Жить по Шаламову **невозможно**. Игнорировать его судьбу и личность, его роковое знание, напоенное мукой, болью и страхом, отчаянием <...> тоже невозможно. <...> И так же невозможно писать о Шаламове — встраивать его многолетний изматывающий душу стон в культурные контексты, отыскивать исторические традиции и фиксировать творческое развитие эстетических и мировоззренческих принципов искусства...²²

С этой точки зрения, три книги о Шаламове волгоградского филолога Л. Жаравиной²³ являются искусной литературной игрой с текстами писателя и с возможным читателем-филологом (что является ярким примером проявления постмодернизма в современном литературоведении). Удивительно, но о литературной «игре» один раз проговаривается и Шаламов в черновом варианте письма своему товарищу по Колыме А. Кременскому (1908–1981):

20 век принес сотрясение, потрясение в литературу. Ей перестали верить, и писателю оставалось для того, чтобы оставаться писателем, **притворяться** не литературой, а жизнью — мемуаром, рассказом, вжатым в жизнь плотнее, чем это сделано у Достоевского в «Записках из Мертвого дома». Вот **психологические корни** моих «Колымских рассказов» (6, 579).

Кажется, что в лучших рассказах Шаламова отражены два человека — художник, вдохновенно сочиняющий, и бывший каторжник, который мучительно вспоминает свое существование в аду, вспоминает не только события, конкретные ситуации и конкретных людей, но и свои ощущения, состояние своего тела, души, сознания, вспоминает прежде всего зло в самых разных своих проявлениях.

«Нас там не было», как пишет А. Немзер. Мы оказываемся всего лишь читателями²⁴. Поэтому нам может быть стыдно возражать или спорить с Шаламовым, проведшим долгие годы на Колыме²⁵. Но мы можем и должны обращаться к опыту тех, кто **там был** и, по сути, говорит иное, опровергающее главные постулаты писателя. На-

²¹ Тимофеев Л. Указ. соч. С. 182.

²² Немзер А. Дальнейшее — молчанье. К столетию Варлама Шаламова // Время новостей. 2007. № 112. 29 июня. С. 10.

²³ «„Со dna библейского колодца“: о прозе Варлама Шаламова» (Волгоград, 2007); «„У времени на дне“: эстетика и поэтика Варлама Шаламова» (М., 2010); «„И верю, был я в будущем“: Варлам Шаламов в перспективе XXI века» (М., 2014).

²⁴ См. осмысление последней фразы первого текста «По снегу», открывающего «Колымские рассказы» («А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели»), в книге: Михеев М. Ю. Андрей Платонов и другие. Языки русской литературы XX века. М., 2015. С. 476–480.

²⁵ И Д. Быков утверждает: «...его выводы не подлежат обсуждению, а чтобы спорить с ним — надо как минимум обладать сравнимым опытом. <...> Жутко звучит, если вдуматься: единственный писатель в мировой литературе, которому нельзя возразить» (Быков Д. Л. Имеющий право (2007) // Быков Д. Л. На пустом месте. СПб., 2011. С. 130, 131).

пример, Б. Лесняк пишет о том, что у каждого свой лагерный опыт и поэтому естественны и неизбежны разные оценки этого опыта. К тому же сам Шаламов неоднократно утверждал, что он «летописец собственной души, не более», что его «Колымские рассказы» — это не воспоминания, а «**новая проза**», «проза, выстраданная, как документ» (5, 157), «Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности» (6, 493), «рассказы эти показывают человека в исключительных обстоятельствах, когда все отрицательное обнажено безгранично» (6, 580)²⁶.

Моя задача, в результате полугодовой плотной работы, прочтения более трехсот статей и книг, полного погружения в материал и написания своего текста в основном в ночные часы, — подвести некоторые итоги изучения заявленной в этой статье темы в современной критике и литературоведении и сказать свое посильное и, надеюсь, живое, осмысленное слово о писателях (каждый из которых создал свой литературный памятник всем замученным и убитым в советских каторжных лагерях), слово, которое может стать действенным и вызвать внутренний отклик у читателей, вызвать ответное эхо. Необходимо сразу пояснить, что один из главных посылов данной статьи заключается ни в коем случае не в том, чтобы упрекать, укорять или осуждать одного из двух писателей, но — только попытаться **понять и объяснить** его трагедию, при искреннем к нему **сочувствии и сострадании**. Читателю данной статьи можно дать совет: для облегчения первого прочтения этой работы не обращать внимания на многочисленные сноски, читать только основной текст.

Будем постоянно помнить ту глубокую правду о человеке, о религии и революции, которую вслед за открытиями и прозрениями Достоевского высказал и Солженицын как совестливый и самостоятельный искатель Истины:

...линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?..

В течение жизни одного сердца линия эта перемещается на нем, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство расцветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях — совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То к святому. <... >

Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в найдобрейшем сердце — неискоренный уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, еще увеличенным, берет себе в наследство²⁷.

В христианской литературе встречается утверждение о том, что **смерть человека**, особенно художника (наделенного Богом редким творческим даром слова), то, как он уходит из земного мира, часто оказывается закономерным и неизбежным **итогом** всего его жизненного и творческого пути, наполняется высшим смыслом, является результатом не только воздействия внешних событий, ударов судьбы, но и внутренних, глубинных процессов, происходящих в душе человека.

²⁶ Шаламов многократно — в трактате «О прозе», в письмах к Ю. Шрейдеру и другим адресатам, в дневниках и записных книжках — излагал свою теорию «новой прозы».

²⁷ Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918—1956: опыт художественного исследования: В 3 т. Екатеринбург, 2008. Т. 1. С. 160; Т. 2. С. 500.

Свой арест, тюрьму, лагерь и затем страшную болезнь Солженицын воспринимал так, как многие христиане воспринимают любое свое несчастье, любую свою беду — как возмездие, кару за многие грехи, проявившиеся в конкретных поступках, чувствах и мыслях, за грехи, требующие своего искупления, о чем он и написал поразительные строки в «Архипелаге»:

Душа твоя, сухая прежде, от страдания *сочает*. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь учишься любить. <...>

Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей: пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни все, что ты делал плохого и постыдного, и думай — нельзя ли исправить теперь?

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..

<...> я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. <...>

На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне все: и тюрьма, и довеском — злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.

Кара? Но — чья?

Ну придумайте — чья? <...>

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как — добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами. На гниющей тюремной сололке я ощутил в себе первое шевеление добра (Т. 2. С. 496—500).

Но тогда неужели и колымские лагеря, многочисленные болезни, глухота, слепота и одиночество в последние годы, полубезумное предсмертное состояние, страшная старость и смерть — все это жестокая кара Шаламову?

Все горестные события христиане принимают с благодарностью, так как посылаются им для их спасения. Святые отцы церкви говорят о **Божием попущении**: а) попущении спасительном и вразумляющем; б) попущении, означающем отвержение человеком Бога и ведущем к полному наказанию. Человек, получивший от Бога свободу выбора и сам сделавший этот выбор, гордый человек, отказавшийся от помощи и защиты Бога, оказывается на территории дьявола, оказывается во власти **дьявола**, целью которого является месть Богу и гибель человеческой души.

Солженицын прожил долгую и, несмотря на все тяжелые испытания, **счастливую** жизнь²⁸, которая в итоге в своем **восхождении** приобрела «цельность и полноту». Он умирает в глубокой старости, мужественно и смиренно принимая неизбежное²⁹, спо-

²⁸ Как отмечает биограф писателя, «о характере Солженицына убедительнее всех, кажется, сказала Е. Ц. Чуковская, Люша: „Солженицын — счастливый человек! Единственный счастливый человек, которого я видела за свою жизнь. Во всех своих несчастьях он сумел укрепиться, устоять, найти себя, отыскать смысл в своей судьбе“» (Сараскина Л. И. Солженицын. М., 2009. С. 921).

²⁹ В одной из «Крохоток», написанных в 90-е годы — «Старение», — мы читаем: «Сколько написано об ужасе смерти, но и: какое же естественное она звено, если не насильственна. <...> Так насколько же легче, какая открытость, если к смерти медленно подводит нас преклонный возраст. Старенье — вовсе не наказание Божье, в нем своя благодать, и свои теплые краски <...>. Ясное старенье — это путь не вниз, а вверх. Только не пошли, Бог, старости в нищете и холоде» (Солженицын А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. М., 2007. С. 562).

койно и светло, по-христиански относясь к смерти, но в тревоге за будущее России и молясь за нее³⁰; умирает, до конца сохранив ясный ум, способность и желание творить (весь последний день работал и в ночь с 3 на 4 августа 2008 года тихо ушел из жизни, как уходят праведники); умирает в кругу любящей семьи (сначала пережив «*семейное крушение*»³¹ и во второй половине жизни обретя любящую и понимающую жену, Наталию Дмитриевну, «Алю», как будто посланную ему Богом и ставшую ангелом-хранителем сорока последних лет его жизни и неустанной помощницей во всех его делах³²), построив свой Дом, в изгнании вырастив трех достойных сыновей, русских людей, и оставив людям великую художественную литературу, продолжающую духовно-нравственные традиции русской классики, и мудрую, пророческую публицистику; умирает, предельно честно выполнив свой христианский долг исполнением евангельских заповедей и реализовав высшее назначение художника: «*Глаголом жги сердца людей*»³³. Всегда считавший, что искусство писателя — прежде всего духовное призвание, Солженицын всем своим творчеством пробуждает в душе своих читателей «*духовную жажду*» услышать «*Бога глас*» и стремление противостоять злу во всех своих проявлениях, пробуждает спасительные в тревожные времена «*чувства добрые*»: жалость, любовь и сострадание к ближнему и «*милость к падашим*».

Невыносимо больно читать о последних годах, месяцах и днях жизни **Шаламова** (по слову И. Золотусского, «антипода» Солженицына). Он умирает, уже давно утратив веру в Бога и в доброту человека³⁴, в наличие справедливости и высшее назначение литературы («*Я не верю в литературу*» — 5, 351), в духовный смысл искусства и благо самой жизни («*Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время*» — 6, 490), умирает в губительном одиночестве обиды на всех людей, на весь мир, умирает в больнице для душевнобольных, уже давно разорвав все отношения со многими людьми³⁵ («*...общение с живыми людьми причиняет боль*» — 6, 475), в том

³⁰ В 1994 году, вернувшись на родину, Солженицын сложил молитву о России, которую произносил каждый день: «Отче наш Всемилостивый! / Россияшку Твою многострадную / не покинь в ошеломлении нынешнем, / в ее израненности, обнищании / и в смутности духа. / Господи Вседержитель!» (1, 571). А в 2003 году на вопрос: «Какое ваше самое большое желание?» — он отвечает так: «Чтобы русский народ <...> не пал духом, не пресекся в существовании на Земле — но сумел бы воспрянуть. Чтобы в мире сохранились русский язык и культура» (Между двумя юбилеями (1998—2003): Писатели, критики и литературоведы о творчестве А. И. Солженицына: Альманах. М., 2005. С. 56).

³¹ В 1967 году Солженицын писал своей первой жене, Н. Решетовской: «Ужасно вот что — постоянное давление недовольства или обиды с твоей стороны. Вместо радостного соучастия — какая-то чужая жизнь. <...> Я не могу, приезжая домой, постоянно встречать здесь мрак» (Сараскина Л. И. Солженицын. С. 612).

³² «Не решусь сказать, у какого русского писателя была рядом такая сотруженица и столь тонкий чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал человека с таким ярким редакторским талантом, как моя жена, незаменимо посланная мне в моем замкнутом уединении...» (Солженицын А. И. Угодило зернышко промеж двух жерновов // Новый мир. 2000. № 9. С. 117).

³³ По словам Н. Струве, «Солженицын прошел через ситуацию пушкинского „Пророка“. <...> Стал большим писателем через реальное физическое умирание. <...> В буквальном, конкретном смысле, телесном, психофизическом, духовном, Солженицын пережил то, что так таинственно изобразил Пушкин в „Пророке“. <...> Этот центральный момент позволяет объяснить свет и силу его творчества» (Струве Н. Явление Солженицына. Попытка синтеза // Между двумя юбилеями. С. 263, 264).

³⁴ Шаламов в письмах к Ю. Шрейдеру в 1968 году писал: «Как только я слышу слово „добро“ — я беру шапку и ухожу» (6, 538); «Человек — существо бесконечно ничтожное, унизительно подлое, трусливое <...> Пределы подлости в человеке безграничны» (6, 541, 542). И в записных книжках Шаламова читаем: «Мы исходим из положения, что человек хорош, пока не доказано, что он плох. Все это чепуха. Напротив, вы всех считайте за подлецов сначала, и допускайте, что можно доверить подлецу» (5, 355).

³⁵ Пасынок Шаламова С. Неклюдов, с 1956-го до 1968 год живший с ним в одной комнате, вспоминает: «Я не раз наблюдал, как у него — и всегда по его инициативе — рвались отношения с окружающими.

числе и с единственной дочерью Еленой (1935—1990), которая, заполняя официальные анкеты, писала, что ее отец умер, а в 1979 году в ответ на телефонный звонок И. Сиротинской с просьбой посетить умирающего отца сказала: «Я не знаю этого человека»³⁶), с Галиной Гудзь (1910—1986), своей первой женой (1934—1956), после чего, по словам дочери, «у мамы в жизни не осталось ничего»³⁷, с писательницей Ольгой Неклюдовой (1909—1989), второй женой (с которой был вместе в период с 1956-го по 1965 год и в письме к которой искренне признавался: «У меня очень мало развито чувство благодарности. <...> Очень мало развито чувство дружбы. Я очень легко рву с людьми» — 6, 230)³⁸, с Борисом Лесняком и Георгием Демидовым (1908—1987), своими колымскими товарищами по несчастью, наконец, с Борисом Пастернаком (1890—1960), которого сначала боготворил и с которым переписывался в 1952—1956 годах, и Надеждой Мандельштам (1899—1980), с которой был дружен в середине 60-х годов.

Разрушительные чувства — раздражение к одним (Г. Демидову, Б. Лесняку, Ю. Шрейдеру и др.) и ненависть к другим (например, к А. Солженицыну) — неизбежно возникают потому, что на его «тропу», на его «едва проходимую узкую тропку» по «снежной целине» (см. рассказ «По снегу», открывающий первый цикл «Колымские рассказы»), на его «темно-серую горную тропу» встает другой со своей «правдой» и оставляет «чужой след», и тогда его «собственная тропа» оказывается «безнадежно испорчена» (см. рассказ «Тропа», открывающий цикл «Воскрешение лиственницы»).

«Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки» (И. Сиротинская), трагическая, мучительная и безрелигиозная жизнь Шаламова, «непоправимо искаленного лагерем», заканчивается беззащитной, безобразной и ужасной старостью: «Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется <...> Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно — чтоб никто не опередил»³⁹. И врач Е. Захарова вспоминает: «Это инвалидный дом! <...> Это грязь, смрад, разлагающиеся полуживые люди вокруг <...> Обездвиженный, слепой, почти глухой, дергающийся человек — такая вот раковина, и внутри нее живой писатель, поэт»⁴⁰.

Он страстно увлекался людьми и столь же быстро разочаровывался в них» (Неклюдов С. Варлам Шаламов: 1950—1960-е годы // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. М., 2013. С. 19). В 1979 году Шаламов делает запись: «...обрезав все отношения с миром, шесть лет я сижу в совершенном одиночестве и ни одного рассказа не выпускаю из стола...» (5, 355).

³⁶ Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 40.

³⁷ «Мне казалось, что самый хороший отец — это мой. И мне дико и порой страшно и непонятно видеть, что этот хороший человек — единственный из маминых знакомых <...> совершенно забыл то хорошее, что мама для него сделала...» — писала дочь своему отцу (6, 93).

³⁸ Свое негативное отношение к семье Шаламов в письме И. Сиротинской выразил предельно резко: «Если уж в мире укрепилась такая омерзительная общественная формула, такой социальный организм, как семья <...> то единственный рецепт семейного счастья — это жить врозь <...> Лучший коллектив — двое, трое — это ад <...> рождение зла, зависти, вражды, предательства, насилия. Трое, даже если третий ребенок, это блоки, интриги, союзы, антисоюзы. В коллективе более трех — человек перестает быть человеком, приближаясь к биологическим законам стадности...» (6, 474, 475). А вот записи, сделанные в 1972 году: «Дети — источник лжи, компромиссов, напряженности. Поэтому государственное воспитание детей в фаланге Фурье имеет тысячу высоких нравственных начал» (5, 334); «Дети ничего не должны родителям, а родители детям» (5, 349). И еще: «Ни у одного поколения нет долга перед другим! — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!» (Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 9).

³⁹ Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 51, 47, 50.

⁴⁰ Захарова Е. Забытый в доме скорби // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. С. 24.

Последней душевной травмой в жизни Шаламова оказалось насильственное перемещение его из дома для престарелых и инвалидов в «психушку» (Е. Шкловский), где через три дня он и умер от воспаления легких.

Если вертикальный вектор жизненного и творческого пути Солженицына (и его многих героев) имеет восходящую направленность к свету, к Богу, то вектор Шаламова (убежденного в том, что в человеке и в жизни доминирует зло) оказался направленным в бездну тьмы и смерти.

2.

Истоки **духовной и душевной трагедии** Шаламова находятся **в детстве**, когда формируется характер и личность человека, в значительной степени и предопределяющие его судьбу.

В своих воспоминаниях «Моя жизнь — несколько моих жизней» Шаламов с горечью пишет о **детской обиде**, «*большой душевной травме*», нанесенной ему учителем русского языка Ширияевым, которому он в 1915 году впервые показал одно из своих ранних стихотворений и который, ссылаясь на Пушкина («*Пушкин, дескать, так бы не писал*»), подверг это стихотворение «*холодному огню критики*» всего лишь из-за «*элементарного поэтического приема инверсии*» (4, 298, 299).

Сильнейшая **детская обида** потрясенного юного поэта сразу распространяется и на всех взрослых людей («*Стихи я писать не перестал, но к взрослым перестал обращаться со своими стихами и не показывал их никому целых двадцать лет — до 1927 года, до Н. Н. Асеева*» — 4, 297), и даже на Пушкина («*Травма же, полученная от школьного учителя, вызвала недоверие к Пушкину ранее всего. Ибо ведь я чувствовал свою правоту. Мне подсказала жизнь, и жизнь оказалась сильнее Пушкина, от имени которого осмелился со мной говорить школьный учитель*» — 4, 299), и как будто на всю русскую классическую литературу, особенно на «*моралиста*», учителя жизни Л. Толстого, о не любви к которому, «*знаменосцу*» «*описательного романа*» (6, 537), «*рядовому писателю*» (6, 580), Шаламов многократно говорил, как будто совершенно забывая о великом писателе-психологе, глубоком исследователе «*диалектики души*» человека.

Первый же разговор со взрослым о своих стихах вызвал незабываемую детскую обиду: «*Всю свою жизнь я вспоминаю косое желтое солнце из окна на плитках портрета, звук, свет из-за плеча учителя*». Это вспомнил Шаламов и через много лет, когда увидел в Третьяковской галерее картину Н. Ге «*Что есть истина*»: «*Таким был желтый солнечный свет на каменном квадратике пола, так же луч солнца задевал лысый череп одного из людей*» (4, 299).

И здесь читатель может вспомнить описание на первых страницах романа Достоевского «**Преступление и наказание**» квартиры старухи-процентщицы, которую задумал убить Раскольников и еще в состоянии «*нерешительности*» отправился на «*пробу*»: «*Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. „И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..“ — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова...*»

Подобно тому как для Раскольникова после ужасного убийства старухи и Лизаветы солнце как будто надолго скрылось за горизонтом, и он оказался в непроглядной тьме **внутреннего ада** («*Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его*»; «*чувство глубочайшего омерзения*»; «*злое презрение*»; «*чувство бесконечного отвержения*»; возникает ненависть даже к самым близким людям — к матери и сестре), так **детские обиды** Шаламова, кажется, навсегда

исказили все восприятие им мира и людей, убили в нем детскую веру и в земного школьного учителя, и в собственного отца-священника («Я не любил своего отца»), и в небесного Учителя, а беззащитная душа ребенка оказалась во власти дьявольских чувств обиды и жалости к себе, гордыни и эгоизма, зависти и ненависти. Символом отхода Шаламова от веры в Бога, церкви, отца-священника стало сознательное изменение им своего имени: Варлам вместо церковного Варлаам⁴¹.

Это **безверие** и доминирующие чувства **обиды** и **злости** (кажется, распространяющиеся на всех людей и на детство в целом, родной город Вологду и на весь мир, на церковь и религию, на Бога) окончательно укрепились в аду сталинских лагерей и, только усиливаясь, уже не отпускали все тридцать лет послеколымской жизни, утяжеленной многочисленными и мучительными болезнями плоти, психики, сознания⁴². Великие слова Спасителя о том, что «Царство Божие внутри вас есть» (Лк. 17:21), подразумевает, что и «дьявольское царство» может быть в душе человека.

Обостренная ранимость, крайняя обидчивость, чрезмерная уверенность в своей безусловной правоте во всем, категорическое неприятие всего иного, ему чуждого, — все эти черты сложного и противоречивого характера Шаламова проявлялись в нем еще с детства.

Острую, на первый взгляд странную обиду на всех близких людей Шаламов, кажется, пронес через всю свою жизнь:

Случилось так, что в жизни моей не было человека, который открыл бы мне поэзию — русскую поэзию. Этим человеком мог бы стать брат, отец, мать, дядя, школьный учитель, который прочел бы со мной живым языком живые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Мне не открыл поэзии никто. Мама моя могла бы это сделать <...>. Мама моя знала бесконечное количество стихов <...> я думаю, что стихи играли в ее жизни роль очень большую и вполне реальную (4, 299, 300).

Но самая тяжелая душевная травма, видимо, была вызвана прежде всего **недостатком любви**, недостаточной любовью к нему **матери** и **отца** уже в раннем детстве, когда, как показал Л. Толстой в повести «Детство», ребенок испытывает «*беспредельную потребность любви*», и это катастрофическим образом сказалось на всей его дальнейшей жизни и трагической судьбе.

«Я хотел быть в детстве калекой, больным <...>. Чтобы меня любили», — это страшное признание Шаламова вспоминает И. Сиротинская и отмечает, что уже через много лет и в старом, больном, искалеченном человеке, прошедшем через колымские лагеря, как будто продолжал жить «маленький, беззащитный мальчик, жаждущий тепла, забот, сердечного участия»⁴³. «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью», — говорит он молодой женщине, матери троих детей, сотруднице ЦГАЛИ, впервые пришед-

⁴¹ На одной из улиц Вологды, недалеко от Софийского кафедрального собора, поясняет в своей автобиографической повести Шаламов, «стоит деревянная церковь — ценность зодчества, равная Кижам, — церковь святого Валаама Хутынского, покровителя Вологды. В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя — Варлаам — в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным <...> Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности <...> которая всегда жила в отце» (4, 14—15).

⁴² По мнению Ю. Шрейдера, «если даже представить, что случай позволил бы ему избежать самых тяжелых лагерей, он все равно осуществил бы свое призвание написать о самом страшном, о самом трагическом» (Шрейдер Ю. Предопределенная судьба // Литературное обозрение. 1989. № 1. С. 58). О мироподобии лагеря сам Шаламов в «Вишере» пишет так: «...лагерь не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни, и ничем другим быть не может <...> В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном» (4, 262).

⁴³ Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 18, 7.

шей к нему домой 2 марта 1966 года и, став самым близким человеком, в течение почти десяти лет заботливо поддерживавшей и помогавшей ему и в бытовой жизни, и в творческой работе, а затем все-таки покинувшей его, оставив в самый тяжелый период его жизни наедине со своими болезнями и своими проблемами⁴⁴.

В русской классической литературе XIX века, может быть, ярче всех ощущение счастливого детства и чувство гармонического единения ребенка со всем миром благодаря прежде всего любви матери, которая, подобно Богу, защищает своего ребенка от всех опасностей и зла в разных своих проявлениях, выразил **Л. Толстой** в повести «**Детство**»:

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. <...> бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство (Гл. XV. Детство).

У Шаламова, несмотря на внешне благополучную пору, еще в детстве больше любившего не людей, а животных и вещи, казавшиеся ему живыми, почти совсем нет светлых и радостных детских воспоминаний, но отчетливо сохранились в памяти ранимые переживания, связанные с тяжелыми потерями: улюлюкающая толпа, озверевшие люди на улицах Вологды забивают до смерти забежавшую в город **белку** («Я видел эти страшные картины в детстве не один раз»); смерть **козы** Тоньки, которая «наелась какой-то дряни, заболела и умерла»; «Третья тяжелая потеря моего детства — это смерть **лодки**. Я очень любил лодку <...> осенью я уехал в Москву и попрощался с лодкой. Днище ее прогнило, краска облупилась. Лодка молчала, лежала ни привычном своем месте. Она умерла позже своих хозяев, так и не побывав больше на реке, на воде» (4, 302). А самой тяжелой потерей уже в 1965 году для него стала гибель любимой **кошки** Мухи: «Ближе ее не было у меня существования никогда. Ближе жены...»⁴⁵; «И все-таки лучше всего была жизнь с Мухой, с кошкой. Лучше этих лет не было. И все казалось пустяками, если Муха здорова и дома»⁴⁶ (5, 293).

В русской классической литературе, может быть, острее всех детскую обиду ребенка на нелюбовь и непонимание взрослых выразил **Лермонтов** в романе «**Герой нашего времени**», в монологе-исповеди Печорина перед княжной Мери⁴⁷. И Шаламов, видимо, еще в детстве, подобно Печорину, стал «скрытен», «злопамятен» («Я умею мстить»), «завистлив», «выучился ненавидеть» («Варлам Тихонович очень злой», — в разговоре с И. Сиротинской сказала Н. Мандельштам⁴⁸). В «Записных книжках» Шаламова мы читаем:

⁴⁴ О ней в 1972 году Шаламов пишет: «Ирина и ее роль в моей жизни — Красная Шапочка и Волк. <...> Ее любовь и верность укрепили меня даже не в жизни, а в чем-то более важном, чем жизнь — умении достойно завершить свой путь. Ее самоотверженность была условием моего покоя, моего рабочего взлета» (5, 335). А в комментариях к переписке с ним И. Сиротинская поясняет: «Я не могла пожертвовать своей семьей, избавить В. Т. от страшной, беззащитной старости. <...> Тяжело было его оставить, и немисливо тяжело взять на себя его житейские проблемы, непосильно <...> Я не думала, что он любил меня так глубоко, я думала — поэзия заменит утрату, да еще если будет домработница — все будет хорошо» (6, 443–445).

⁴⁵ Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 11.

⁴⁶ Как пишет Шаламов в «Четвертой Вологде», «кошка была единственным домашним животным, которого никогда не было в нашей семье. Ее независимый характер не устраивал отца» (4, 45).

⁴⁷ См. подробнее: Влащенко В. И. Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». СПб., 2014. С. 135–148.

⁴⁸ Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 35.

Уже после, зрелым человеком, я сообразил, что я просто опоздал родиться — места в семье мне не осталось. Все было решено еще где-то на Аляске: сын Сергей — Нимрод, охотник лучший из лучших <...> — Нашей семье грех жаловаться на Бога, — разъярялся отец за столом, — Валерий — художник, сестра Галя — певица, Сергей — это Нимрод семьи, ее физическая сила. Бессребреничество израсходовано на мать. Наташа — неудачница (5, 350, 351).

Свою мать, которая была «человеком крайне нервной организации <...> плакала, слушающая всякую музыку», которую «заставили насильно вести хозяйство, где пятеро детей, — вместо того чтобы слушать музыку, читать стихи», свою мать Шаламов все-таки не столько упрекал, сколько жалел⁴⁹ и прощал: «Да маме и некогда было со мной...» (4, 299, 317, 300).

Уже в детстве Шаламов **не любил** своего отца («...отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное — от здравого смысла» — 4, 15), а в зрелые годы вспоминал его как семейного тирана⁵⁰, как страстного любителя охоты и рыбной ловли («Охота с ружьем не разрешается православному духовенству <...> В Америке, на Алеутских островах, где отец был православным миссионером, более десяти лет охотился, его страсть находила выход» — 4, 317). Шаламов «ненавидел с самого раннего детства» (4, 45) хозяйственную работу по дому, которой целый день занималась мать и которую она очень не любила, **ненавидел** охоту («...горжусь, что за всю свою жизнь не убил ни одной птицы, ни одного зверя» — 4, 302), **ненавидел** перочинный нож, которым отец добил пойманную щуку. Он вспоминает слова матери, сказанные ею после смерти отца в 1933 году: «Ты всегда был не такой, как все. Все смеялись над тобой, и отец твой тоже. Что ты не зорил гнезд, не стрелял из рогатки. Мне было за тебя стыдно» (4, 317). В черновиках «Четвертой Вологды» мы читаем:

Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери — ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек — только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни. В душе моей детской рождалось чувство жалости за мать красавицу, умницу, погруженную в горшки, ухваты, опару. <...> Только убивать ни животных, ни птиц он меня не мог научить. Это главная причина, поссорившая меня с отцом (7, 423, 424).

Шаламов вспоминает один разговор со слепым отцом:

Отец сидел целые дни в кресле — спал днем. Я пытался его будить — врачи сказали, что ему не надо спать. Однажды он повернулся ко мне лицом и с презрением к моей недогадливости сказал: «Дурак. Во сне-то я вижу». И этот разговор я не смогу забыть никогда (4, 304).

⁴⁹ В рассказе «Крест» (1959) Шаламов создает иной портрет матери, жены «слепого священника»: «...жена его была когда-то такая полная, толстая, что собственный сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал, твердя: „Я не хочу с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая“» (1, 483).

⁵⁰ И. Сиротинская в своей книге комментирует это так: «И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру <...> не препятствовал свободному времяпрепровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье <...> Не так уж задавлена была мать отцовской волей, если смогла потом удержать рухнувшие своды вселенной над своей семьей» (Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 16, 17).

Шаламов не объясняет, почему же он не мог забыть. Чувствовал ли свою вину перед отцом и раскаивался или все-таки от пронзительной обиды за слово «дурак» и откровенно выраженное **презрение** отца не чувствовал?

Уже в детстве в душе Шаламова, находящегося в «глубоком конфликте с семьей», место Бога («*Сам я лишен религиозного чувства*» — 4, 304) и место отца и матери занимали книги, стихи, страстная любовь к которым подменила любовь к близким людям. Из зависти к старшему брату Сергею (успешному во всем любимцу родителей) и нелюбви к отцу (который ослеп в 1920 году, после гибели Сергея в Красной армии от взрыва гранаты⁵¹) родились страшные поэтические строки: «*Зови, зови глухую тьму — / И тьма придет, / Завидуя брату своему, / И брат умрет*» (3, 439). Петербургский исследователь А. Большев так комментирует эти стихи:

...ничего страшнее автор «Колымских рассказов» не написал <...> ужас автора связан с собственными темными чувствами и желаниями, которые так страшно осуществились, ужас связан с осознанием собственной вины. Шаламов заглянул в бездну еще до Колымы <...> Может быть, в глубине души Шаламов полагал, что каждый человек (и он сам в том числе) заслуживает наказание? Не потому ли он и выжил в чудовищных и нечеловеческих условиях, что ему проще было адаптироваться к колымскому беспределу? <...> Шаламов в глубине души носил знание об этом зле⁵².

И Д. Быков утверждает: «...его мир до всякого лагеря был безрадостен, аскетичен <...> со своей правдой о человеке Шаламов пришел в лагерь, а не вышел из него. <...> Шаламов поставил под сомнение всех, кроме себя, — но в конце концов изобразил ад собственного безумия»⁵³.

Отрицательное воздействие отца (священника-прогрессиста, представителя течения обновленчества в церкви⁵⁴, с энтузиазмом принявшего советскую власть и отступившего от истинной веры, искушаемого страстью к охоте и общественной деятельности и как будто наказанного слепотой, когда Варламу было 13 лет), разрушительное воздействие на душу своего сына, еще ребенка, можно назвать «сыноубийством», в духовном смысле этого слова, так как он убил в сыне веру в Бога: «*Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в Бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь*» (4, 142). Уже через много лет в записной книжке Шаламов как будто подписывает приговор отцу-священнику: «*Молитва отца была молитвой атеиста*» (5, 303).

«*Я умею мстить*», — признается он в своих «Воспоминаниях» (4, 316). И автобиографическая книга «**Четвертая Вологда**» (1971), в которой Шаламов не столько «спас от забвения годы своего детства» (И. Сиротинской), сколько с жестокой беспощадностью изобразил отца как чудовищного самодура, и рассказ «**Крест**» (1959), в котором рассказано о том, что «*единственным делом*» слепого священника стали козы, а когда кормить их стало нечем, разрубил топором «*наперстный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа*», — оба произведения в значительной степени являются мезью отцу, у которого на самом деле была «*языческая сущность*» (4, 44), мезью церкви и религии, в духовном смысле являются отцеубийством и убийством Бога.

В душе ребенка, если он не чувствует к себе любовь-жалость со стороны близких людей, если сталкивается с несправедливостью, проявлением зла по отношению к себе,

⁵¹ «Ослеп священник вскоре после смерти сына — красноармейца химической роты, убитого на Северном флоте. Глаукома, „желтая вода“, резко обострилась, и священник потерял зрение» («Крест»; 1, 483).

⁵² Большев А. Указ. соч. С. 191, 192.

⁵³ Быков Д. Л. Указ. соч. С. 135, 138.

⁵⁴ «Именно это движение несло дорогу сердцу отца реформу — служба на русском языке, второбрачие духовенства, борьба белого духовенства с черным монашеством» (4, 100).

в душе ребенка, как показал **Л. Толстой** в повести «**Отрочество**», образуется не просто некая пустота, вакуум, рождается не просто ответная нелюбовь, но страшная **ненависть**, из чего возникает «*душевное расстройство*» и такое «*состояние духа*», когда человек способен совершить «*самое ужасное преступление*», состояние, которое очень точно автор называет «**затмением**»: «— *Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу*» (Гл. XIV. Затмение).

Подобную «правду» о человеке, убийственную, «**мертвую правду**», неоднократно после Колымы выскажет Шаламов в своих рассказах, воспоминаниях, письмах.

Из истории русской литературы XIX века мы знаем о поэтическом выражении нелюбви (ненависти) **Некрасова** к своему отцу, олицетворяющему крепостническое государство в раннем стихотворении «**Родина**» (1846), но незадолго до смерти, в 1877 году, поэт признается и кается:

Здесь я должен сказать несколько слов, как бы они ни были поняты: это дело моей совести. Я должен, по народному выражению, снять с души мой грех. В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт...⁵⁵

Подобного человеческого раскаяния в жизни Шаламова, видимо, не было (не говоря уже о высоте христианского исповедального покаяния).

Солженицын, в отличие от Шаламова, своих родителей — отца, Исаакия Семеновича (1891—1918), и мать, Таисию Захаровну (1894—1944), ставших первыми интеллигентами среди крестьян рода Солженицыных и Щербаков, — бесконечно любил и в своей эпопее «**Красное колесо**» художественно воплотил в образах Сани Лаженицына и Ксении Томчак, рассказал о случайной и счастливой их встрече в апреле 1917 года в Москве («*...кажется, что не познакомились, а узнали, опознали друг друга*»), о чуде их зарождающейся любви. Комментарий к этому мы прочитаем в книге Л. Сараскиной:

Первую встречу отца и матери Солженицын рисует красками такого бурного счастья, так переполняющей радости, такого ликующего восторга, что для выдумки (то есть художественного вымысла) здесь будто и не остается места. Только мать и могла, спустя годы, передать сыну это блаженное сияние бытия...⁵⁶

По словам биографа писателя, «любовно и бережно восстанавливал Солженицын детство, отрочество и юность своей матери. Таисия Щербак (Ксения Томчак), героиня ярчайших глав „Красного колеса“, окружена нежным восхищением автора...»⁵⁷ С нежной любовью и горьким чувством своей вины перед матерью Солженицын вспоминал:

Плеврит, туберкулез — и через силу вставали — 38, 39, трясло, ломало — имея бюллетень, шла на работу, чтобы только вечером попасть на съезд и заработать что-нибудь еще для сына. Она соткала мне беззаботное счастливое детство, которое сейчас приятно вспомнить, она создала все материальные условия для моего духовного развития⁵⁸.

⁵⁵ См. подробнее: Влащенко В. И. «Жестокая дума» Некрасова // Литература в школе. 2001. № 6. С. 2—8.

⁵⁶ Сараскина Л. И. Солженицын. С. 69.

⁵⁷ Там же. С. 64.

⁵⁸ Там же. С. 228.

Александр Солженицын родился через полгода после нелепой смерти отца (несчастного случая на охоте), только что вернувшегося без единой царапины с фронта Первой мировой войны, но «из сохранившихся документальных свидетельств, из рассказов матери <...> из расспросов уцелевших родных <...> автор „Красного Колеса“ по крупицам составит портрет героя, Сани Лаженицына, в котором любовно и романтически запечатлеет отца»⁵⁹.

Отца Исаакия (названного по православному обычаю по святым на день крещения в честь преподобного Исаакия Далматского, византийского святого, именем которого назван собор в центре Петербурга) его родители и все родные в семье называли Саней. Именно поэтому мать будущего писателя своего единственного сына, родившегося в день памяти преподобного мученика Стефана Нового, назвала не Степаном, а Александром, Саней, по только что умершему отцу. Как поясняет биограф писателя, «в декабре 1934 г. шестнадцатилетний Солженицын получает паспорт с неверно указанным отчеством: „Исаевич“ вместо „Исаакиевич“»⁶⁰.

В ответ на вопрос журналиста о самом раннем детском воспоминании Солженицын рассказывает эпизод из своего детства, произошедший в церкви Св. Пантелеймона в Кисловодске, когда ему было «три года с небольшим»:

Я в церкви. Много народа, свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чем же дело. Мать меня поднимает на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят серединой церкви отменные остроконечные шапки кавалерии Буденного, одного из отборных отрядов революционной армии, но такие шишаки носили и чекисты. Это было — отнятие церковных ценностей в пользу советской власти⁶¹.

Это воспоминание как будто освещает всю дальнейшую жизнь Солженицына и объясняет многое: и его глубокую веру, и его борьбу с советской властью, и его страстные обличения зла советской идеологии. Отдельные детали приведенного текста приобретают символическое значение: мать, церковь (Бог), народ как соборное единение людей в церкви перед ликом Христа, толпа как быстрая трансформация (вырождение) народа в результате насилия «революционной армии», отымающей не только материальные церковные, но и духовные ценности, что умертвляло души людей. И в «Велипостном письме Патриарху Пимену» (1972) Солженицын вспоминает:

...Я услышал Ваше послание <...> Я услышал это — и поднялось передо мной мое раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории⁶².

А в отрочестве, живя с матерью в Ростове-на-Дону, будущий писатель в течение многих лет «каждый день, возвращаясь из школы <...> проходил мимо длинной очереди женщин, которые ждали на холоде часами. <...> Женщины были женами заключенных, они ждали в очереди с передачами»⁶³.

Именно о таких очередях с пронзительной болью и безысходной скорбью написала Анна Ахматова в своем «Реквиеме». Уже в девятилетнем возрасте Солженицын

⁵⁹ Там же. С. 46.

⁶⁰ Там же. С. 81.

⁶¹ Интервью журналу «Ле Пуэн» (декабрь 1975) // Публицистика. Т. 2. С. 318.

⁶² Публицистика. Т. 1. С. 133.

⁶³ Публицистика Т. 2. С. 318–319.

знал, что будет писателем, а в свои 18 лет «задумал большую книгу о революции <...> И потом никогда от этого замысла не пришлось отказываться»⁶⁴.

Прожив безрелигиозную юность и молодость⁶⁵, пройдя через ад войны, лагерей и смертельной болезни, уже в зрелые годы Солженицын возвращается к светлой вере, о чем и написал в 1952 году в стихотворении «Живая вода», включенном затем в книгу «Архипелаг ГУЛАГ»: «И теперь, возвращенною мерою / Надчерпнувши воды живой, — Бог Вселенной! я снова верую! / И с отречимся был Ты со мной...» (Т. 2. С. 499). А через десять лет, уже в 1963 году, была написана «Молитва» (которой завершается первый цикл «Крохоток»), с ощущением Божественного промысла и присутствия Господа в своей судьбе: «Как легко мне жить с Тобой, Господи! / Как легко мне верить в Тебя!» (1, 554).

3.

В критической литературе по теме «Солженицын и Шаламов» можно выделить две основные группы отдельных статей — «нейтральных» исследователей (М. Геллер, В. Френкель, Ю. Шур и др.⁶⁶) и шаламоведов (В. Есипов, Е. Михайлик, И. Сиротинская и др.⁶⁷) — и две группы оценочных суждений: страстных «разоблачителей» Солженицына⁶⁸ и его исследователей-единомышленников, которые высоко оценивают и произведения Шаламова⁶⁹.

Известный историк **М. Геллер** (1922—1997) еще в своих работах 70-х годов прошлого века — в статьях и книге «Концентрационный мир и советская литература» (Лондон, 1974) — первый серьезно поставил проблему «Солженицын и Шаламов» и отметил принципиальное **расхождение** между «великими писателями»: «Солженицын возражает против основного вывода, сделанного после многолетних лет колымских лаге-

⁶⁴ Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета 8 июня 1978 // Публицистика. Т. 1. С. 321.

⁶⁵ В 30-е годы «ужаса и духовной пустыни», рассказывает Солженицын в 1998 году, «я потерял веру, стал атеистом, и душа моя опустела. Мне презренно и отвратительно читать сейчас свои записи юношеского и студенческого времени. Но поскольку православие было заложено в меня с детства, мне было легче вернуться к нему в тюрьме. Я вернулся в старое, привычное. И вера эта поддерживала меня всю жизнь и поддерживает повседневно» (Солженицын А. И. Собр. соч.: В 9 т. М., 2005. Т. 8. С. 442).

⁶⁶ См.: Гаврилов В. А. Своеобразие творческого метода в прозе А. Солженицына и В. Шаламова // Актуальные проблемы современного литературоведения. М., 1997. С. 24—26; Автократова Т. Творческая дискуссия А. И. Солженицына с В. Т. Шаламовым // Художественная литература, критика и публицистика в системе двух культур. Вып. 5. Тюмень, 2005. С. 72—78; Компанец В. Своеобразие художественного раскрытия «лагерной темы» в русской прозе XX века // II Международный симпозиум и русская словесность в мировом культурном контексте. М., 2008. С. 113—115.

⁶⁷ См.: Жаравина Л. Христианские постулаты в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова: свет Фавора и мрак Синая // Мир России в зеркале новейшей художественной литературы. Саратов, 2004; Ганущак Н. Шаламов и Солженицын: взаимосвязь и противостояние // К столетию со дня рождения В. Шаламова. М., 2007. С. 189—197.

⁶⁸ См.: Войнович В. Н. Портрет на фоне мифа. М., 2002. С. 76—78; Островский А. В. Солженицын. Прощание с мифом. М., 2004. С. 458—459; Сарнов Б. М. Феномен Солженицына. М., 2012. С. 175—182, 454—455; Свиридова А. Дитя ада // Алфавит. 2002. № 12. С. 10.

⁶⁹ См.: Шнеерсон М. Александр Солженицын. Очерки творчества. Посев, 1984. С. 120—121; Чалмаев В. А. Александр Солженицын: Жизнь и творчество. М., 1994. С. 46, 53—59; Нива Ж. Солженицын. М., 1992. С. 89—90; Нива Ж. Возвращение в Европу: Статьи о русской литературе. М., 1999. С. 79, 211—213, 222; Нива Ж. Александр Солженицын. Борец и писатель. СПб., 2014. С. 121; Голубков М. М. Александр Солженицын. М., 2001. С. 26—28. Урманов А. В. Творчество Александра Солженицына. М., 2003. С. 18, 218.

рей: „лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного оттуда никто не вынесет“⁷⁰.

Затем поэт и эссеист **В. Френкель** в статье, написанной в 1982 году и опубликованной в нашей стране в 1990 году, верно отмечает многие отличительные особенности художественных миров Шаламова и Солженицына, но объясняет это прежде всего тем, что «лагерный опыт Шаламова больше, страшнее, чем опыт Солженицына», что первый из них «свидетельствует о той бездне, где свидетель — только он»⁷¹. Автор статьи не столько противопоставляет, сколько пытается «**примирить**» двух «больших» писателей тем утверждением, что у каждого из них своя «правда», а это дает возможность полнее раскрыть и глубже понять жуткую страницу отечественной истории. И поэт Г. Шурмак (1925—2007) считает, что спор Шаламова и Солженицына не является «духовным», что «оба классика» навсегда «останутся в истории: соратниками, братьями по духу, по борьбе за счастье России»⁷². Подобная точка зрения выражена в статьях С. Григорьянца («...их объединяет <...> осознание вплотную придвинувшейся катастрофы»)⁷³ и А. Ланде⁷⁴.

Хотя значительно раньше **Анна Шур** предложила более глубокое осмысление этой темы, утверждая, что неодинаковое отношение к лагерю у «пессимиста» Шаламова и «оптимиста» Солженицына связано не только с разным лагерным опытом, но и является результатом разных **нравственных убеждений** и наличием или отсутствием **религиозной веры**⁷⁵.

В конце 90-х годов, после публикации писем и записных книжек Шаламова, совершенно иное решение заявленной проблемы, полностью игнорируя все, написанное об этом прежде, предложили биографы Шаламова — московский архивист И. Сиротинская и вологодский журналист В. Есипов.

В 6-м томе собрания сочинений Шаламова опубликовано его 15 писем к Солженицыну (1962—1966), в которых, в частности, дана высокая оценка таким его произведениям, как рассказ «Для пользы дела» (6, 289—290), пьеса «Свеча на ветру» (6, 295), роман «В круге первом» (6, 313—315)⁷⁶. Выделим из них три наиболее содержательных письма.

Свое первое и самое большое письмо Шаламов написал Солженицыну в ноябре 1962 года, сразу после прочтения «Одного дня Ивана Денисовича» в 11-м номере «Нового мира». В письме выражено очень сильное эмоциональное впечатление и дана наивысшая оценка этого произведения:

Повесть — как стихи — в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока <...> глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова <...>. Необычайно правдивой фигурой в повести <...> я считаю Алешу, сектанта <...>. Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они

⁷⁰ Геллер М. Я. Александр Солженицын. Лондон, 1989. С. 56 (Статьи о Солженицыне, написанные в 70-е годы, вошли в эту книгу).

⁷¹ Френкель В. В круге последнем: Варлам Шаламов и Александр Солженицын // Даугава. 1990. № 4. С. 79, 82.

⁷² Шурмак Гр. «Наш спор — не духовный...» // Русская мысль. Париж, 1999. 16—22 сентября. С. 13.

⁷³ Григорьянец С. Он представил нечеловеческий мир // Досье на цензуру. № 7—8. С. 265.

⁷⁴ Ланде А. К столетию Варлама Шаламова // Посев. 2007. № 6. С. 30—34.

⁷⁵ Шур А. В. Т. Шаламов и А. И. Солженицын (Сравнительный анализ некоторых произведений) // Новый журнал. Нью-Йорк. 1984. № 155. С. 92—101.

⁷⁶ Свой поэтический сборник «Шелест листьев» (М., 1964) Шаламов подарил Солженицыну с надписью: «В знак бесконечного восхищения Вашей художественной, общественной и нравственной победой».

кладут стену. <...> Возможно, это такого рода увлечение работой и спасает людей (6, 277, 278, 279, 282).

Отмечена и «единственная фальшь» повести в ложной реакции кавторанга на вахте, когда он возмущается действиями охранников: «В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был» (6, 282).

Шаламов аргументированно утверждает, что в повести изображен «лагерь „легкий“, не совсем настоящий» (то есть не колымский. — В. В.), в котором нет блатарей, изображен «Особлагерь, который много слабее настоящего лагеря» (где «почти вся психология рабочей каторги, внутренней ее жизни определялась блатарями»), и приводит многочисленные бытовые отличия колымского лагеря 1938 года, который «есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего» (6, 277, 278, 284).

А в конце письма Шаламов снова подчеркивает, что «все в повести этой верно, все правда», и категорично выражает свое однозначное отношение к лагерю: «Помните самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно» (6, 288)⁷⁷.

В двух письмах, написанных, видимо, в конце 1964 года, Шаламов **спорит** с Солженицыным по очень важным вопросам и выражает свое отношение к творческой интеллигенции («Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию» — 6, 300) и к «современным „бытописателям“, вроде Шелеста и Алдан-Семенова» (6, 301), которые тоже писали о сталинских лагерях, но главное не то, «правду» или «неправду» они пишут, главное в том, талант или бездарность об этом пишет: «Все они лжецы как раз потому — что они бездарны. На свете есть тысячи правд (и правд-истин, правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта» (6, 302). Кроме того, Шаламов выражает свою принципиальную позицию в отношении к физическому труду и в вопросе о том, как лагерь воздействует на человека:

«Что касается авторов нескольких сочинений на тему „люди остаются людьми“, то знакомиться с этими произведениями не было нужды, поскольку главная мысль выражена в заголовке. **В лагерных условиях люди никогда не остаются людьми...**» (6, 302); «Желание обязательно изобразить „устоявших“. Это тоже вид растления духовного» (6, 310); «...для каждого колымского арестанта, день или год проработавшего на Колыме в любом управлении, должен быть делом чести и совести главный вопрос. Можно ли славить физический труд из-под палки <...> Лагерь может воспитывать только отвращение к труду <...> я ненавидел этот труд всеми порами тела, всеми фибрами души, каждую минуту» (6, 308, 309).

Из писем к другим адресатам необходимо выделить послание 1972 года А. Кременскому, в котором Шаламов говорит о своем полном **несогласии** с Солженицыным во всем:

В вопросах искусства, связи искусства и жизни у меня нет согласия с Солженицыным. У меня иные представления, иные формулы, каноны, кумиры и критерии. Учителя, вкусы, происхождение материала, метод работы, выводы — все другое. Солженицын — весь в литературных мотивах классики второй половины 19 века, писателей, растоптавших пушкинское знамя... и в толковании лагеря я не согласен с «Иваном Денисовичем» решительно, Солженицын лагеря не знает и не понимает (6, 577).

⁷⁷ Резкое дальнейшее изменение отношения Шаламова к Солженицыну и его первому опубликованному произведению отражает запись, сделанная в 1969 году: «Я не принадлежу к поклонникам Солженицына. „Один день Ивана Денисовича“, на мой взгляд, имел много просчетов, фальшив, о лагере как о благодатной школе никому не годится» (Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 6 т. + 7, дополнительный. Т. 7. М., 2013. С. 397).

Большое место Солженицын занимает в записных книжках Шаламова, куда тот, видимо безмерно страдая от бессознательной **зависти**, не осознавая свои чувства как виды зависти, выплескивает свой **гнев и ярость, злобу и ненависть**, свое **презрение** к нему:

«Мир Солженицына — это мир подсчетов, расчетов» (5, 289); «У Солженицына та же трусость, что и у Пастернака. Боится переехать границу, что его не пустят назад. <...> Солженицын боялся встречи с Западом, а не переезда границы» (5, 321); «Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности» (5, 322); «Восемнадцатого декабря умер Твардовский. При слухах о его инфаркте думал, что Твардовский применил точно солженицынский прием, распустив слухи о собственном раке, но оказалось, что он действительно умер»⁷⁸; «Я никогда не мог представить, что после XX съезда партии появится человек, который собирает воспоминания в личных целях» (5, 367).

Он не хочет поверить в то, что кто-то может оказаться сильнее его и в «нечеловеческих условиях» сохранить веру в любовь и дружбу, веру в добро, и с самонадеянной уверенностью выражает свое мнимое **превосходство** над (как ему кажется) очень ограниченным **человеком**:

«Солженицын для „Чайковского“ слишком мало понимает искусство, для Гамлета слишком глуп, а для Порфирия Петровича бездарен» (5, 311); «Солженицын — это провокатор, который получает заработанное свое» (5, 329); «Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма» (5, 364); «И еще одна претензия есть к Вам, как представителю „прогрессивного человечества“, от имени которого Вы так денно и ночью кричите о религии громко: „Я — верю в Бога! Я — религиозный человек!“» (5, 367).

Он с гордой убежденностью выражает свое превосходство над, с его точки зрения, слабым, бездарным **писателем**:

«В моих рассказах праведников больше, чем в рассказах Солженицына» (5, 289); «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына» (5, 363); «В одном пальце Пастернака больше таланта, чем во всех романах, пьесах, киносценариях, рассказах, повестях и стихах Солженицына» (5, 364); «За два века такого слабого произведения [«Август Четырнадцатого» — В. В.] не было, наверное, в мировой литературе <...> Все, что пишет Солженицын, по своей литературной природе совершенно реакционно» (5, 365).

Шаламов, в колымском аду, в краях «вечной мерзлоты», навсегда утративший веру в человека, в добро, в Бога, видимо искренно убежденный в своей правоте, в истинности «личного ощущения», своего понимания и своей оценки другого (а другой — всегда «подлец», всегда «делец»), убежденный в своем праве судить другого («...главное человеческое право — право судить» — 6, 330), как будто навсегда подписывает ему приговор, без права обжалования, без всякой надежды на реабилитацию, и таким об-

⁷⁸ Шаламов В. Из записных книжек // Знамя. 1995. № 6. С. 158. Этой записи почему-то нет в 5-м томе собрания сочинений. Видимо, составитель И. Сиротинская сознательно вычеркнула эти чудовищные слова.

разом жестоко мстит Солженицыну. Шаламов сам вершит «Страшный суд», исключая возможность какого-либо «воскресения из мертвых».

Отдельно надо сказать о Солженицыне-поэте. Шаламов видит в нем несчастного графомана: «*Тайна Солженицына заключается в том, что это безнадежный стихотворный графоман с соответствующим психическим складом этой страшной болезни, создавшей огромное количество непригодной стихотворной продукции*» (5, 364). Но сам Солженицын свое создание «стихотворной продукции» в лагерях объясняет очень просто, не претендуя на звание поэта: «*По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить*»⁷⁹. И американский профессор политологии Дж. Понтузо отмечает: «Он сумел свой разум оградить от телесных тягот, а чтобы легче запомнить придуманное, стал сочинять в рифму. И вот таким поразительным образом он сумел сохранить в уме тысячи — а быть может и сотни тысяч — стихов, которые в итоге сложились в монументальные три тома «Архипелага...»⁸⁰ А в главе «**Поэзия под плитой, правда под камнем**» Солженицын вспоминает:

А очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив. <...>

Так я писал. Зимой — в обогревалке, весной и летом — на лесах, на самой каменной кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне еще не поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша (таясь от соседей) записывал строчки, набежавшие, пока я вышлепывал прошлые носилки. Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал ее вкус, не слышал окружающих — все лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене (Т. 3. С. 93, 98).

И. Сиротинская и **В. Есипов**, биографы и комментаторы Шаламова, целиком разделяя его позицию, с легкой готовностью повторяют многие его суждения, используя их в качестве дубинки против Солженицына, и добавляют свое об «олигархе от литературы», добавляют несправедливое, ненавистное, агрессивное. Приведем некоторые высказывания «*публикаторши*»:

Один — поэт, философ, и другой — публицист, общественный деятель, они не могли найти общего языка. <...> А. И. оттягивал знакомство В. Т. с Л. Копелевым. Ему самому Копелев помог найти пути в «Новый мир», в конечном счете — на Запад. И делиться удачей вряд ли хотелось. На Западе важно было оказаться первым и как бы единственным. И А. И. всячески уговаривает В. Т. не посылать на Запад свои рассказы⁸¹.

А. И. Солженицын, безусловно, великий стратег и тактик, а Шаламов — всего лишь великий писатель. <...> В разных войнах они участвовали: Солженицын — с советской бюрократией, Шаламов — с мировым злом. И с Хиросимой, и с Освенцимом, и с растлением людей <...> Нет, никогда, нигде и ничего доброго не сделал Солженицын для мученика⁸².

⁷⁹ Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Т 2. С. 499.

⁸⁰ Солженицын: Мыслитель, историк, художник. С. 226.

⁸¹ Сиротинская И. П. В. Шаламов и А. Солженицын // Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 73, 75.

⁸² Сиротинская И. Александр Солженицын о Варламе Шаламове // Новый мир. 1999. № 9. С. 236—237.

И В. Есипов в очерке Солженицына «С Варламом Шаламовым» увидел «откровенное стремление унижить и растоптать Шаламова как литературного соперника, принизить значение сделанного им — все исключительно во имя собственного самоутверждения, дабы ни у кого не возникало малейших сомнений в правоте взятой им на себя исторической миссии»⁸³, а в своей книге о Шаламове утверждает следующее:

У Солженицына была возможность в пору его фавора легко организовать и личную встречу Твардовского и Шаламова <...> Но до такой степени великодушия «солнечному» счастливчику-эгоцентрику никогда подниматься не удавалось — он был занят только собой, своими планами, в которые всегда входило стремление считать себя «первым и единственным» в лагерной теме в литературе и в таком же качестве преподнести себя на Западе⁸⁴.

К сожалению, в одном ряду с этими «разоблачителями» оказался известный лингвист и семиотик **Вяч. Вс. Иванов** (1929–2017), который, противопоставляя Шаламова и Солженицына и выделяя главную, с его точки зрения, причину их расхождения, целиком стоит на стороне первого:

Они разошлись, потому что Шаламов считал, что человек в лагере не выдерживает, человек в лагере погибает. А Солженицын пытался доказать и писал об этом в «Архипелаге» <...> человек в лагере сохраняется, сохраняет там любовь к труду. Все это Шаламов считал лакировкой со стороны того литературного дельца, которым, думаю, с полным основанием он считал Солженицына. Так что для меня было понятно, что их расхождение основывалось на очень принципиальном подходе к этой главной проблеме <...> Если люди погибают во всех смыслах — пройдя через мучение пыток и лагеря, то литература не имеет права не писать об этом. И попытки, как это делал Солженицын, скрыть этот факт, построить искусственную литературу на отрицании этого бесспорного факта — это вызывало у Шаламова, как и у меня, резкое отторжение»⁸⁵.

Литературовед из Австралии **Е. Михайлик**, сравнивая «Один день Ивана Денисовича» Солженицына с рассказом Шаламова «Тишина», написанном в 1966 году и включенным в цикл «Воскрешение лиственницы», приходит к выводу о «художественной пропасти» между этими писателями и тем самым разделяет распространенное в либерально-демократической среде современной интеллигенции представление о том, что Шаламов — великий художником XX века, а Солженицын — всего лишь публицист и общественный деятель⁸⁶. В другой работе она вслед за Шаламовым обвиняет Солженицына в том, что тот в слепоте своей гордыни претендует на роль учителя и пророка, самозваного судьи, хотя сам во всем «обязан ненавидимому им институту»⁸⁷.

В отличие от других шаламоведов, **Ю. Шрейдер** (1927–1990), друг писателя и ученый, отмечая целый ряд «фундаментальных противоречий» в эстетической и нравственной позиции Шаламова, выраженной в его прозе, письмах, статьях и заметках, утверждает, что «пути, проложенные Шаламовым и Солженицыным, не отрицают, но дополняют друг друга», что «речь идет о двух путях литературного процесса, каждый

⁸³ Есипов В. В. Провинциальные споры в конце XX века. Вологда, 1999. С. 210.

⁸⁴ Есипов В. В. Шаламов. М., 2012. С. 250–251.

⁸⁵ Иванов Вяч. Вс. Поэзия Шаламова // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. М., 2013. С. 33.

⁸⁶ Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 101–114.

⁸⁷ Михайлик Е. Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое общество» и лагерная литература // Новое литературное обозрение. 2009. № 6 (100). С. 365.

из которых необходим для сохранения и развития великой традиции русской литературы». Он имеет в виду «линию Пушкина» и «литературную традицию Л. Толстого» и подчеркивает, что Шаламов «поставил перед собой чисто литературную задачу создания новой прозы, основанной на документальном свидетельстве»⁸⁸. И литературовед из Сургута говорит об «одной истине в двух измерениях», о двух «равновеликих именах в русской литературе XX века»⁸⁹.

Л. Жаравина (несмотря на многократные заявления самого Шаламова о своем атеизме) сопоставляет «религиозность Шаламова и Солженицына» и пишет об «очевидной относительности оппозиции» этих писателей и соотносит «ад» Солженицына с «новозаветной сотериологией», а Колыму Шаламова с «ветхозаветным Шеолом»⁹⁰.

Петербургский исследователь **И. Сухих** в интересной и содержательной статье «Жить после Колымы» (Звезда. 2001. № 6), написанной в академической манере, без выражения личностного отношения, без нравственных и художественных оценок (предполагающих не суд, а только соотношение с духовной истиной, наличие чего для многих людей в нашем «плюралистическом», «постмодернистском» мире просто исключается), в статье, позднее вошедшей в работу «**Двадцать книг XX века**», акцентирует внимание на «**расхождениях**» между «двумя летописцами лагерного мира» и без определения иерархии этих отличий, «слишком великих и принципиальных», без четкого отделения ядра от многих и разных граней, выделяет, по крайней мере, одиннадцать расхождений между Шаламовым и Солженицыным⁹¹. В статье угадывается большая симпатия автора к Шаламову, что подтверждается и тем, что в его книгу не вошли произведения Солженицына.

4.

Очерк «**С Варламом Шаламовым**» Солженицын написал в 1986 году, а опубликовал только в 1999 году (Новый мир, № 4), с небольшими добавлениями записей 1995 года в качестве реакции на публикацию фрагментов дневников Шаламова в «Знамени» (1995. № 6)⁹² и добавлением записи 1998 года как ответ на «*прямые наветы*» в статье И. Сиротинской в «Шаламовском сборнике» (Вып. 2). Начинается очерк так:

Мы с ним оба были верные «сыны Гулага», я хоть по сроку и испытаниям меньше его, но по духу, по отданности, никак не слабей. Это — очень стягивало нас, как магнитом. И когда в 1956 я читал в самиздате стихи его, неведомого:

Я знаю сам, что это — не игра,
Что это — смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради, —

⁸⁸ Шрейдер Ю. Правда Солженицына и правда Шаламова // Время и мы. Нью-Йорк. 1993. № 121. С. 204–217.

⁸⁹ Ганущак Н. В. Творчество Варлама Шаламова в контексте литературной традиции. Тюмень, 2013. С. 107–113.

⁹⁰ Жаравина Л. В. «У времени на дне». С. 30, 31.

⁹¹ См.: Сухих И. Н. Двадцать книг XX века. Эссе. СПб., 2004. С. 421–425.

⁹² На эту публикацию Л. Чуковская так откликается в своем дневнике: «Прочла Шаламова „Записи“. Выпады против Солженицына мелкие, самолюбивые и прямо завистливые. Между тем „Архипелаг“ — великая проза, новая не только новым материалом, но и новым искусством. Оттого читать „Колымские рассказы“ Шаламова нельзя читать. Это нагромождение ужасов — еще один, еще один. Ценнейший вклад в наши познания о сталинских лагерях. Реликвия. И только» (Чуковская Л. Указ. соч. С. 138).

да ведь это ж просто обо мне! о моей тайне — и он соучастник⁹³.

Воспоминания Солженицына представляют собой спокойный, сдержанный, с искренним состраданием к «собрату» («Пополнил он ряд самых трагических фигур нашей литературы») рассказ о **взаимоотношениях** с Шаламовым: сначала радостное и «родственное» **сближение**, естественное чувство единства, общности — по судьбе, по духу, по призванию художника, нечастые встречи (первая — в ноябре 1962 года, в редакции журнала «Новый мир»), оживленная переписка⁹⁴, начавшаяся с «длинного, пыльного письма» в Рязань, в котором Шаламов дал самую высокую оценку «Одному дню Ивана Денисовича» и «делился общими лагерно-литературными чувствами», затем **споры** и значительные **расхождения** по многим вопросам, предложение Солженицына в конце августа 1964-го о совместной работе над «Архипелагом», на что был получен «быстрый и категорический отказ»⁹⁵. И через некоторое время (последняя встреча приходится на лето 1965-го, а еще в 1968 году в письме Я. Гродзенскому Шаламов просил: «Если увидишь Солженицына — передавай привет»; 6, 351) последовал неизбежный горький **разрыв** всех отношений: «...очень мы разные перья. <...> да разве можно было совместить наши мироощущения? Мне — соединиться с его ожесточенным пессимизмом и атеизмом? А — политические взгляды? <...> За пределами лагерной темы, на русскую и советскую историю в целом — у нас были взгляды, конечно, слишком разные»⁹⁶.

Психологический перелом в отношениях двух писателей произошел после поездки Шаламова в сентябре 1963 года в Солотчу, куда его пригласил Солженицын, увидев, в каких условиях он живет в Москве:

А я как раз в тот (1963) год, получив свободу от школы, провел чудесную весну в Солотче в разливное время в отдельном домике в лесу, и на осень ехал туда же, отдаться писанию «Ракового корпуса». И так мне **жалко** было Варлама, что он лишен и тишины и воздуха, я пригласил его приехать и **поработать** у меня недельку. И он охотно приехал. <...> Приглашая его, я судил по себе: мне бы только дали работать в тишине и в чистом воздухе, с утра до вечера, лишь бы не мешали, — и я думал, что и он нуждался лишь в том. А, оказалось, он понимал так, что вторую половину дня или хотя бы к вечеру мы будем подолгу **разговаривать**⁹⁷. Он предполагал

⁹³ И еще раньше, в «Архипелаге», Солженицын писал о том же: «В 1956 году в Самиздате, уже тогда существовавшем, я прочел первый сборник стихов Варлама Шаламова и задрожал, как от встречи с братом <...> Он тоже писал о лагере! — ото всех таясь, с тем же одиноким безответным кликом в темноту...» (Т. 3. С. 99).

⁹⁴ Солженицын в письме Шаламову 21 марта 1964 года писал: «И я твердо верю, что мы доживем до того дня, когда „Колымские рассказы“ и „Колымские тетради“ также будут напечатаны. Я твердо в это верю, и тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов» (Гродзенский С. Я. Воспоминания об Александре Солженицыне и Варламе Шаламове. М., 2016. С. 4).

⁹⁵ О том же читаем в «Послесловии» к «Архипелагу»: «Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям <...> И кому предлагал я взять отдельные главы, — не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в мое распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать — отклонил и он» (Т. 3. С. 498).

⁹⁶ Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 166, 167.

⁹⁷ Л. Чуковская после девяти лет знакомства с Солженицыным вспоминает: «Вечная торопливость <...> неистовая спешка к средоточию и глубине <...> Живя бок о бок — иногда на даче, а иногда и в городе — разговаривали мы, однако, не часто и не подолгу: Солженицына тянуло к труду» (Чуковская Л. «Мастерская человеческих воскрешений...» // Досье на цензуру. 1999. № 7—8. С. 196, 197). Для нас достоверно и суждение П. Басинского: «У него было исключительное чувство драгоценности времени <...> дорожил каждой минутой жизни <...> ни минуты лишней для просто разговора...» (Басинский П. Улыбка исполина // Москва. 2008. № 9. С. 4).

между нами длинные литературные разговоры, он весьма нуждался в таком общении — да и очень интересные у него суждения. Но я вообще не люблю «разговаривать о литературе»; предпочитаю молча писать и впитывать, молча писать свое. Да при моем постоянном тоннельном прорыве сквозь хребты, 16-часовой неразгибности в день, — я совершенно не готов был так проводить время. Уклонился раз, два, три, самое большое могу разговаривать только к ночи полчаса. Он — может быть **обиделся**, может быть и нет, — но понял нашу **несовместимость**, и через два дня круто сказал, что — уезжает. <...> Открытой размолвки между нами этот неудачный опыт не вызвал — но и не сблизил никак⁹⁸.

А вот как об этом в 1997 году пишет «верный друг» Шаламова и открытая «ненавистница» Солженицына И. Сиротинская:

И тогда, в 60-е годы, растущее отчуждение от «дельца», как он называл А. И., уже ясно чувствовалось. Он рассказал мне о неудавшихся беседах в Солотче осенью 1963 г. — куда он ездил в гости к А. И. Выявилась какая-то биологическая, **психологическая несовместимость** бывших друзей при таком длительном контакте. Вместо ожидаемых В. Т. бесед о «самом главном» — какие-то мелкие разговоры. Может быть, А. И. просто не был так расточителен в беседах и переписке, как В. Т., берег, копил все впрок, в свои рукописи, а В. Т. был щедр и прямодушен в общении, ощущая неистощимость своих духовных и интеллектуальных сил⁹⁹.

Наконец, выслушаем еще одно мнение, рассказ пасынка Шаламова, С. Неклюдова, ставшего известным ученым-фольклористом:

Я помню его первые впечатления от произведений Солженицына, как он поминутно входит в комнату и вслух читает то «Ивана Денисовича», то «Случай в Кречетовке», просто дрожа от восхищения. Однако дальше обнаружилось поразительное **несовпадение характеров, темпераментов**, хотя в первые месяцы отношения были очень близкими, но потом — резкая **ссора**. Когда В. Т. приехал из Солотчи, куда его пригласил для совместного **отдыха** (? — В. В.) Солженицын, у него были белые от **ярости** глаза: тот образ жизни, тот ритм, тот тип отношений, которые были предложены Александром Исаевичем, оказались для него абсолютно неприемлемыми¹⁰⁰.

А сам Шаламов в письме к Солженицыну, написанному вскоре после публикации книги «Бодался теленок с дубом» (1975), но и так и оставшемся в черновом варианте в записных книжках Шаламова, так объясняет свой отъезд из Солотчи:

И умер для Вас я не в Москве, а в Солотче, где гостил у Вас и, впрочем, всего два дня, я бежал в Москву тогда от Вас, сославшись на внезапную болезнь. <...> Что меня поразило в Вас — Вы писали так жадно, как будто век не ели <...> Оказывается, главная цель приглашения меня в Солотчу не просто работать, не скрасить мой отдых, а «узнать Ваш секрет» <...> (5, 366).

На наш взгляд, здесь проявляется очень важная **психологическая** причина произошедшего — детская **обида** и бессознательная **зависть** Шаламова, очень большого человека («Я просто болен, болен тяжело душевно», — признается он себе в записной книжке 28 октября 1970 г.; 5, 307),

⁹⁸ Солженицын А. И. С Варламом Шаламовым. С. 165–166.

⁹⁹ Сиротинская И. В. Шаламов и А. Солженицын. С. 74.

¹⁰⁰ Неклюдов С. Указ. соч. С. 19.

Это **зависть** к Солженицыну, к которому после публикации целого ряда произведений пришла как будто незаслуженная мировая слава (присуждение Нобелевской премии), к писателю, для которого работать, писать, творить — такая же потребность, как еда для голодного человека, к писателю, способному просто физически так увлеченно писать по 16 часов в сутки, **зависть**, проявлявшаяся, видимо, не столько на уровне сознания, сколько на уровне **чувства**, эмоционального состояния¹⁰¹, зависть как **«боль»** (Аристотель), вызванную невероятной работоспособностью другого, зависть, мгновенно перерастающую в **«ненависть»** (Декарт), которая разрушает человека изнутри, зависть, проявившаяся и на уровне реального поведения (внезапный отъезд из Солотчи)¹⁰².

После оглушительного успеха «Ивана Денисовича» и при полном отсутствии публикаций рассказов Шаламова **«раздражение»**, **«зависть»** и **«обида»** у него постепенно переросли в **«озлобление»** и **«ненависть»**¹⁰³, о чем узнал Солженицын из дневников, опубликованных в 1995 году: *«И я поражен. Из всего нашего знакомства, ни из одной встречи, никаким предчувствием я не мог предположить такое: что Шаламов меня возненавидел <...> Теперь видно: озлобление его ко мне — настойчиво росло, все возвращается. Уже — и рак я придумал...»* Но Солженицын не обвиняет, не судит, а по-христиански жалеет и прощает **«брата по перу»**: *«Уж так круто-тяжко сошлось Варламу к его ужасному концу. В одинокие предсмертные годы не выдержал душой неудач и несчастий»*¹⁰⁴. Ненависть Шаламова в бессознательной глубине своей, видимо, была вызвана еще и тем, что он инстинктивно воспринимал творчество Солженицына, если использовать слова А. Шмемана, именно «как опасное, разрушительное для себя, своих убеждений, своего миропонимания».

Эта ненависть сродни той ненависти всей бригады к сектанту, о которой рассказывает автор в рассказе **«Тишина»** (1966) из цикла «Воскрешение лиственницы»:

¹⁰¹ О прямо противоположном эмоциональном воздействии Солженицына-человека пишет А. Ахматова: «Вчера (28-го) у меня (у Маруси в Москве) был Рязанский (Солженицын). Впечатление ясности, простоты, большого человеческого достоинства. С ним легко с первой минуты» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М., 1996. С. 253). И А. Шмеман при первой же встрече с Солженицыным в Швейцарии, «горной встрече» в конце мая 1974 года, был удивлен и даже потрясен очень многим в нем: «Напор и энергия. <...> Невероятное нравственное здоровье. Простота. <...> Целеустремленность человека, сделавшего выбор. Этим выбором определяется то, что он слушает, а что пропускает мимо ушей. Слушает, берет, хватается то, что ему нужно. На остальное — закрывается. <...> Несомненное сознание своей миссии, но именно из этой несомненности — подлинное смирение. Никакого всезнайства. Скорее — интуитивное понимание. <...> Это отменение всего второстепенного, сосредоточенность на главном. <...> Живя с ним (даже только два дня), чувствуешь себя маленьким, скованным благополучием, ненужными заботами и интересами. Рядом с тобою — человек, принявший все бремя служения, целиком отдавший себя, ничем не пользующийся для себя. Это поразительно. <...> Ничего от „интеллигента“. Не вширь, а вглубь и ввысь <...> Удивительные по свету и радости, действительно — „горные“ дни. <...> Будут ли у меня в жизни еще такие дни, такая встреча — вся в простоте, абсолютной простоте, так что я ни разу не подумал: что нужно сказать? Рядом с ним невозможна никакая фальшь...» (Шмеман А., прот. Дневники: 1973–1983. 3-е изд. М., 2009. С. 100–103).

¹⁰² См. о сущности, истоках и видах зависти: Ильин Е. П. Психология зависти, враждебности, тщеславия. СПб., 2014. С. 17–22, 46–58, 152–167. Как показали многие философы и психологи, чтобы противостоять собственной зависти, естественной и свойственной почти каждому человеку, зависти, из которой вырастают злоба и ненависть, необходимо прежде всего **осознавать** ее в себе как страшный и опасный порок и постараться «задушить ее как злого демона» (Е. Ильин).

¹⁰³ Как вспоминает С. Гродзенский, ученик Солженицына и сын друга Шаламова, Я. Гродзенского (1906–1971), в 70-е годы «Шаламов на каждое упоминание имени Солженицына всегда реагировал активно, со страстью и почти всякий раз негативно» (Гродзенский С. Я. Указ. соч. С. 9).

¹⁰⁴ Солженицын А. С Варламом Шаламовым. С. 168, 169.

Мы были человеческими отбросами <...> Мы ненавидели начальство, ненавидели друг друга, а больше всего ненавидели сектанта — за песни, за гимны, за псалмы <...> Сектант пел, пел хриплым остуженным голосом — негромко, но пел какие-то гимны, псалмы, стихи. Песни были бесконечны.

И вдруг произошло чудо: «ночной обед», дополнительное питание для самой слабой и голодной бригады. А затем — неожиданная смерть сектанта:

Белая мгла окружала забой, освещенный лишь светом костра конвоира. Сидевший рядом со мной сектант встал и пошел мимо конвоира в туман, в небо <...> Потом раздался выстрел, сухой винтовочный щелчок — сектант еще не исчез во мгле, второй выстрел <...> И, холодея от догадки, я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для самоубийства. Это была та порция каши, которой недоставало моему напарнику, чтобы решиться умереть, — иногда человеку надо спешить, чтобы не потерять воли на смерть.

Обычно исследователи на веру и некритически воспринимают все объяснения рассказчика в текстах Шаламова, но в данном случае понимание поступка сектанта как самоубийства — это понимание поврежденного, атеистического сознания. Сектант уходит «в небо», чтобы сохранить живой свою душу, свою веру, Бога в душе. А **ненависть** к нему вырастает из бессознательной **зависти** тех, кого сделали «человеческими отбросами», из зависти к его способности и здесь петь гимны и псалмы, а не проклинать и ненавидеть Бога, судьбу, мир, всех людей. Рассказчик же рад смерти сектанта, рад возникшей после этого тишине: «Как всегда, мы окружили печку. Только гимнов сегодня некому было петь. И, пожалуй, я даже был рад, что теперь — тишина». Эта тишина и означает духовную смерть рассказчика.

Второй ключевой момент в очерке Солженицына — это его естественная и эмоциональная реакция на неожиданное для всех письмо Шаламова в газету:

А потом вдруг — его тягостное отречение от «Колымских рассказов» в «Литгазете» в феврале 1972 <...> «я — честный советский гражданин» <...> «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью»... От дела всей своей жизни — так громко отрекся... Меня — это крепко ударило. Кто? Шаламов? сдает наше лагерное? Непредставимо, как это: признать, что Колыма — «снята жизнью»? И помещено-то в газете было почему-то в черной рамке, как если бы Шаламов умер.

По сути, это письмо-отречение (вызвавшее всеобщее осуждение и глубокое разочарование в узнике-герое у многих людей¹⁰⁵, предположивших, что его заставили это сделать) означало духовную смерть автора «Колымских рассказов»¹⁰⁶. Видимо, не случайно, что после этого он в течение 1972 и 1973 годов написал только по четыре рассказа, и на этом его «лагерная эпопея» закончилась. Однако, как вспоминает И. Сиротинская, Шаламов вопреки всему говорил: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту»¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Даже И. Сиротинская призналась: «Чтобы спасти книгу, Шаламов пишет письмо в „Литературную газету“. <...> Для меня это было крушение героя» (Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. С. 42).

¹⁰⁶ Анатолий Марченко в письме академику П. Капице 1 марта 1980 года писал о том, что Шаламов «не только достойно жил — и, к счастью, выжил — на Колыме, но и создал нерукотворный памятник ее жертвам — „Колымские рассказы“. А в 70-е годы отрекся от них: „Проблематика «Колымских рассказов» снята жизнью!“ Предал себя, предал дело своей жизни, предал сотни, нет — тысячи мучеников... Чего ради? Не могу понять. Говорят, что поманили публикацией сборника его стихов» (Сахаровский сборник. М., 2011. С. 108).

¹⁰⁷ Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. С. 43.

От власти в знак благодарности он получил новую комнату, обещанное издание книги стихов «Московские облака», был принят в Союз писателей и «до 1978 года получал литфондовские путевки в Коктебель и Ялту <...> Комфортабельная писательская жизнь произвела на него самое сильное и приятное впечатление»¹⁰⁸. Шаламоведы В. Есипов и Ю. Шрейдер этот шаг «честного советского писателя», как Шаламов написал о себе в письме, безоговорочно оправдывают: «Это не было отречением — то, что он в этом письме написал. Это был некий жест, сделанный, чтобы сохранить возможность публиковаться. Он <...> просто не хотел участвовать в играх с его именем — в играх политического свойства»¹⁰⁹; «...он радовался, что ему удалось добиться этой публикации»¹¹⁰.

Очень странное, как будто неадекватное объяснение Шаламова своего письма мы находим в его записи, сделанной предположительно в конце февраля 1972 года:

Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому. Я отлично знаю, что мне за любую мою «деятельность» <...> ничего не будет в смысле санкций. Тут сто причин. Первое, что я больной человек. Второе, что государство с уважением и пониманием относится к положению человека, много лет сидевшего в тюрьме, делает скидки. Третье, репутация моя тоже хорошо известна. За двадцать лет я не написал, не подписал ни одного заявления в адрес государства, связываться со мной, да еще в мои 65 лет — не стоит. Четвертое, и самое главное, для государства я представляю собой настолько ничтожную величину, что отвлекаться на мои проблемы государство не будет...¹¹¹

В своем очерке Солженицын высоко оценивает стихи Шаламова («*Стихи его уж очень-очень были мне к сердцу. <...> Стихи Шаламова всегда мне нравились больше, чем проза его*») и высказывает конкретные критические суждения о его «лагерных» рассказах: в них нет отдельных характеров («*все — на одну колодку*»); «*расплывается композиция*» рассказов, что, видимо, является «*результатом его изнеможения от многолетнего лагерного измота*»; не согласен с главной мыслью Шаламова о том, что «*до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни*».

Кроме того, Солженицын пишет о своем согласии или несогласии с конкретными литературными суждениями Шаламова и споре с ним о правильном произношении слова «зэк» или «зэка»¹¹². И в автобиографической книге **«Бодался теленок с дубом»** Солженицын неоднократно пишет о Шаламове, о его стихах и рассказах:

Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочел их летом 1956 и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался.

Сильное преимущество подпольного писателя — в свободе его пера <...> Но жесткой художественной критики <...> писатель-подпольщик не получает. <...> Проза Шаламова тоже, по-моему, пострадала от долголетней замкнутости его работы. Она могла бы быть совершеннее — на том же круге материала и при том же авторском взгляде. <...>

Для меня, конечно, и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались в область «просто поэзии», — они были из горячей памяти и сердечной боли; это был мой неизвестный и далекий брат по лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле таская

¹⁰⁸ Там же. С. 45.

¹⁰⁹ Шрейдер Ю. Предопределенная судьба // Литературное обозрение. 1989. № 1. С. 58.

¹¹⁰ Шрейдер Ю. Шаламов о литературе // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 229.

¹¹¹ Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 104.

¹¹² В «Архипелаге» Солженицын убедительно доказывает свою правоту. См.: Т. 2, ч. 3, гл. 19. С. 408—409.

ноги, и наизусть, пуще всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше пятка¹¹³.

Уже в начале своей книги **«Архипелаг ГУЛАГ»** Солженицын с благодарностью упоминает имя Шаламова среди тех, кто написал о лагерях:

Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967 мне постепенно стали известны «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и воспоминания Д. Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой-Слиозберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения как на литературные факты, известные всем (так и будет же в конце концов) (Т. 1. С. 10–11)

А во втором томе автор поясняет, почему *«почти исключил Колыму из охвата этой книги»*: *«Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и „повезло“: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много»* (Т. 2. С. 101). Из-за того, что Шаламов запретил Солженицыну прямо использовать свои материалы при написании книги¹¹⁴, тот только иногда ссылается на рассказы Шаламова и предлагает читателю самому обратиться к ним¹¹⁵. В седьмой главе третьей части, подробно описывая *«туземный быт»* людей в *«истребительно-трудовых лагерях»*, Солженицын подчеркивает свое уважение к Шаламову, говорит об одинаковой общей оценке лагерей и о некоторых *«точках расхождения»* с ним:

...Я узнал шестьдесят лагерных рассказов Шаламова и его исследование о блатных. Я хочу здесь заявить, что, кроме нескольких частных пунктов, между нами никогда не возникало разногласия в изъяснении Архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт.

Это, однако, не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек — лагерная санчасть. О каждом лагерном установлении говорит Шаламов с ненавистью и желчью (и прав!) — и только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создает, легенду о благодетельной лагерной санчасти <...> Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже: дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита (Т. 2. С. 171, 174).

Но принципиальный спор Солженицына с Шаламовым, спор о сущностных основах бытия, происходит в четвертой части **«Душа и колючая проволока»**, смысловом центре всей книги, где поставлен важнейший вопрос: какова судьба души в неволе и что поможет душе? В четвертой части первая глава **«Восхождение»** заканчивается словами: *«Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: —*

¹¹³ Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. 2-е изд. М., 1996. С. 16–18, 57.

¹¹⁴ «Через Храбровицкого сообщил Солженицыну, что я не разрешаю использовать ни один факт из моих работ для его работ» (5, 302).

¹¹⁵ «Может быть, в „Колымских рассказах“ читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния» (Т.2. С. 6); «И три раза в месяц губительные, разорительные бани. (Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь: есть обстоятельный рассказ — исследование у Шаламова, есть рассказ у Домбровского.)» (Т. 2. С. 165); «Сучья война достойна была бы отдельной главы в этой книге, но для этого пришлось бы поискать еще много материала. отошлем читателя к исследованию Варлама Шаламова „Очерки преступного мира“, хотя и там неполно» (Т. 3. С. 218).

Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!» А во второй главе «Или рас-
тление?» следует продолжение:

Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхождения» они не заметили, чушь, а растление — на каждом шагу. Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже все написано) возразит **Шаламов**:

«В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми <...> Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов <...> Осталась только злоба — самое долговечное человеческое чувство». «Мы поняли, что правда и ложь — родные сестры». «Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде». «...Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет». <...>

Лагерная жизнь устроена так, что зависть со всех сторон клюет душу, даже и самую защищенную от нее. <...> Еще ты постоянно сжат страхом <...>. В этих злобных чувствах и напряженных мелочных расчетах — когда же и на чем тебе возвышаться? <...>

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?

А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через Архипелаг — какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них — и следующие заступают, и опять идут. Твердость, не виданная в XX веке! <...>

А как объяснить, что некоторые люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными? <...> никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология <...> Растлеваются те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. <...> Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда. <...>

И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде <...> Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что каждого им удавалось смять. Как в природе нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идет растление без восхождения. Они — рядом» (Т. 2. С. 502—504, 506—509).

В этом споре о человеческой природе и соотношении добра и зла в душе человека безусловную правоту Солженицына объективно подтверждают художественные и документальные книги, дневники тех людей, кто прошел через ад сталинских (О. Волков, Е. Гинзбург, И. Гронский, Г. Демидов, Ю. Домбровский, Б. Лесняк, Е. Федоров и др.) и немецких концлагерей (Дж. Агамбен, В. Кресс, П. Леви, В. Франкл и др.), кто пережил ленинградскую блокаду (О. Берггольц, Л. Гинзбург, В. Глинка, Д. Лихачев и др.).

5.

Солженицын и Шаламов прожили долгую жизнь — 89 и 75 лет соответственно, но духовно по-разному прошли все шесть основных этапов человеческой жизни: детство — отрочество — юность — молодость — зрелость — старость. Оба уже в детстве осознали свое высшее назначение — стать писателями, художниками слова, но одного вел по жизни **Бог**, защищал, спасал, помогал открыть и сказать слово **истины** о человеке, созданном по образу и подобию Божию, слово **правды** о заключенных, о необходимости и высшем смысле страданий, о собственной греховности и закономерной неизбежности наказания, сказать слово **правды** о русском народе и России, о народных праведниках из крестьян (образы Матрены и Ивана Денисовича), а другого опекал **дьявол**, цель которого — погубить человеческие души, отравить их завистью, злобой и ненавистью, «чувствами бесплодными, не творящими искусство» (А. Солженицын), и помочь писателю лишенным жалости словом выразить «мертвую», убийственную и жестокую «**правду**» о человеке-звере, в минуты «затмения» противопоставить спасительной **Истине** губительную **ложь** о животной, звериной сущности человека и бессмысленности жизни, о тотальной власти зла и бессилии добра, **ложь** о русском крестьянине, душа и внутренний мир которого были недоступны пониманию писателя-интеллигента, неспособного «писать мужика изнутри» (А. Солженицын), **ложь** о русском народе («*В народе нет никаких праведников, и не было никогда*» — 7, 410) и о России («*Выступила на свет подлинная Расея, со всей ее злобностью, жадностью, ненавистью ко всему*» — 7, 424), помочь подтвердить ложную идею о том, что «Бог умер», Бога нет, ибо «ложь есть неузнавание образа Божия (в себе и в других)»¹¹⁶. Ложь Шаламова рождается из души, погруженной во тьму обиды и зависти, злобы и ненависти, из гордыни и желания мести, из «окамененного нечувствия»¹¹⁷ своих грехов.

Солженицын достойно прошел свой жизненный и творческий путь духовного **восхождения** к истине, к Богу:

детство, с его гармоническим мироощущением, благодаря прежде всего материнской любви и бессознательной вере в Бога, с той ясностью и чистотой души, тем светом, той целостностью души, чувством глубокой связи всего со всем, чувством полного слияния с миром и жизнью, чувством Божественной красоты и Божественной сущности всего, которые возможны только в детстве;

атеистические **отрочество, юность и молодость** («*Я был оморочен коммунизмом <...> захвачен заразой мировой революции*») преодолел с минимальными для души потерями благодаря осознанию своего призвания стать писателем и высокой идее служения отечеству, России, и в качестве воина, защитника Родины;

эпоха **зрелости** в жизни Солженицына начинается в 27 лет, начинается с ареста на фронте в 1945 году, а затем тюрьмы¹¹⁸ и лагеря¹¹⁹, с раздумий и совестливых стра-

¹¹⁶ Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Указ. соч. С. 338.

¹¹⁷ «Убоимся окамененного нечувствия грехов наших; убоимся гордости своей сердечной...» (Протоиерей Григорий Дьяченко. Вера, Надежда, Любовь. Катехизическое поучение: В 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 381).

¹¹⁸ «Из тюремной протяженности оглядываясь на свое следствие, я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться тверже и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было» (Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. С. 131).

¹¹⁹ «Лишь поздним лагерным опытом, натеревший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере все лез на какие-то должности и тотчас же падал с них. <...> И я вывожу

даний¹²⁰, с очищения души через искреннее раскаяние в своих грехах¹²¹, которое настаивает, как удар молнии, раскалывающей деревья (крохотка «Молния» заканчивается словами: «Так и нас, много: когда уже постигает удар кары-совести, то через все нутро напрострел, и через всю жизнь вдоль. И кто еще остается после того, а кто и нет» — 1, 558); эпоха **мудрой зрелости** начинается со смирения перед карой за эти грехи, с прозрения и духовного воскресения¹²², обретения истинной, осознанной и выстраданной веры в Бога («Благословение тебе, тюрьма!»);

в глубокой **старости** Солженицын, великий художник и мыслитель, испытывая чувство позора за Россию 90-х годов (крохотка «Позор» начинается так: «Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину <...> До какого разора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взяться» — 1, 563) и молясь за спасение России («Отче наш Всемилостивый! <...> Из глубин Беды — / вызволи народ свой неукладный» — 1, 571), праведником уходит из земной жизни.

Душа **Шаламова**, лишенного «счастливой поры детства», кажется, навсегда остановилась в своем духовном развитии на стадии **отрочества**, когда, как показал Л. Толстой, ребенок утрачивает непосредственную детскую веру и у него возникает «бездна мыслей», когда перед ним встают неразрешимые, непосильные для него философские вопросы о смысле жизни и цели человеческого бытия, о смерти и месте человека в мироздании; когда в нем пробуждаются природные, плотские инстинкты и резко усиливается проявление таких опасных пороков, как гордыня и зависть, самолюбие и тщеславие, эгоизм и стремление к освобождению от всех запретов; когда в «пустыне отрочества» ребенок в состоянии духовной слепоты (скептического или даже нигилистического отношения к высшим духовным ценностям), в состоянии «затмения» оказывается во власти дьявольских чувств злобы и ненависти, убивающих любовь; когда человек может сказать: «Я понял, что Бога нет, что нет смысла в самой жизни»; когда без Бога борьба в человеке между телом и душой неизбежно заканчивается победой животных, звериных инстинктов, победой **зла**, победой **дьявола**; когда в душе умирают вера, надежда, любовь и воцаряется ад.

И Шаламов, обладавший художественным даром, «подлинным поэтическим даром» (Вяч. Вс. Иванов), искал спасение в **стихах** и в детские годы, и в аду колымских лагерей, и в последующие десятилетия¹²³. В одном из своих последних рассказов — «Афин-

в конце обязательства — „Ветров“. Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами. <...> А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу мне не пришлось подписаться „Ветров“. Но и сегодня я поживаюсь, встречая эту фамилию» (Т. 2. С. 290, 296).

¹²⁰ «Какие легкие свободные мысли! Мы как будто вознесены на Синайские высоты, и тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин мечтал: „Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!“ Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь...» (Т. 1. С. 207).

¹²¹ «Я метал подчиненным беспспорные приказы, убежденный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть возвышала меня. <...> Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревешки потолще, чтобы было мне удобно и безопасно» (Т. 1. С. 156—157).

¹²² «„Архипелаг ГУЛАГ“ — вино русской совести, взбродившее на русском терпении и покаянии. Здесь нет злобы <...> Есть гнев, сын большой любви, есть сарказм и его дочь — беззлобная, русская, даже веселая ирония. Она у Солженицына и форма плача о человеке» (Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Указ. соч. С. 336).

¹²³ В начале 70-х годов в незаконченном эссе «Поэт изнутри» Шаламов отмечает: «Я писал стихи всегда <...> делал попытку фиксировать свои жизненные впечатления, суждения в какой-то поэтической форме. Уйти от них было выше моих сил. <...> Потребность стихосложения была неве-

ские ночи» (1973) — Шаламов рассказывает о том, как у него и других фельдшеров больницы возникает органическая потребность в стихах:

Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств.

Пятым чувством является потребность в стихах.

У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи — не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи.

В поэзии Шаламов видел не только «чудо» и форму «общений с Богом» (5, 167), но даже и проявление дьявольского начала. В 1973 году в письме к И. Сиротинской он писал: «Стихи — это боль, мука, но и всегда — игра. Стихи убивают людей, которые относятся к ним серьезно <...> Стихи — это античеловеческое мероприятие, скорее от дьявола, чем от Бога» (6, 502). И в письме к Ю. Шрейдеру мы читаем: «...стихи — это дар Дьявола, а не Бога...» (6, 553).

А жестокая, безжалостная, «мертвая» проза Шаламова (прежде всего его «Колымские рассказы»¹²⁴), подобно лиственницам на Севере из рассказа «Сухим пайком» («...крученые деревья и на дрова не годились — своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севером жизнь»), оказывается его **местью** людям и всему миру (устроенному как лагерь, подобному аду), литературе и искусству, прежде всего русской классической литературе с ее нравственно-духовными ценностями¹²⁵. Шаламов своими произведениями судит человека, судит весь мир, свое время, ибо, как он пишет в своих «Воспоминаниях», «писатели — судьи времени <...> Художественное изображение — это суд, который творит писатель над миром, который окружает его» (4, 307).

В минуты **гордыни** Шаламов пишет о себе и своих стихах: «Два года назад я считал себя лучшим человеком России» (5, 299); «Я новатор завтрашнего дня» (5, 348); «Это лучшие стихи сейчас в России, более того — единственные стихи, истинное искусство» (6, 457)¹²⁶.

В минуты **гордыни** и отчасти «затмения» Шаламов, отвечая на вопрос: «Имеют ли мои рассказы чисто литературные особенности, которые им дают место в русской прозе?» (6, 484), дает конкретные ответы и пишет о создании им «новой прозы» в русской литературе XX века:

«Новая русская проза — вот первое их значение для автора» (6, 580); «Рассказы мои совершенны» (4, 438); «Очерк документальный доведен до крайней степе-

рочная <...> Во время работы на прииске <...> ни одного стихотворения за эти десять лет не написало <...> Но едва я получил передышку даже ничтожную, я пытался как-то отметить это в стихотворной форме. <...> А в 1949 году я уже работал фельдшером, и меня, как графомана, нельзя было удержать от писания стихов» (5, 164–165).

¹²⁴ «„Колымские рассказы“ — вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно» (6, 493); «Фотография лагерей уничтожения и дана в „Колымских рассказах“ <...> я не предлагаю художественного описания. Я предлагаю просто новую форму фиксации фактов» (6, 583).

¹²⁵ «Крах гуманистических идей, историческое преступление, приводящее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, — доказали, что искусство и литература — нуль» (6, 490).

¹²⁶ Это о своей книге «Дорога и судьба», опубликованной в 1967 году. А об удивительном русском поэте 60-х годов в «Записных книжках» Шаламова есть только одна строчка: «27.1.71. Умер поэт Николай Рубцов от водки» (5, 315).

ни художественности» (5, 323); «Ни одной строки, ни одной фразы в «КР», которая была бы «литературной — не существует» (5, 154); «Рассказы мои представляют успешную, сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа <...> Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность <...> Не документальная проза, а проза, пережитая как документ, без искажений „Записок из Мертвого дома“. Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности...» (6, 484, 486, 493).

И это принимали на веру и много раз повторяли шаламоведы в своих статьях, диссертациях, книгах и заявляли о величии писателя и его новых открытиях. А Е. Михайлик даже говорит о шаламовской «революции в литературе», которая, по ее мнению, «оказалась настолько успешной, что прошла незамеченной»¹²⁷. И Л. Жаравина, отмечая, что «автор был в равной степени озабочен проблемами метафизического порядка («преодоление зла, торжество добра» — 5, 148), так и вполне конкретными частными вопросами мастерства: «художественным освоением документальной маски» (5, 341), принципами организации повествования, словесной структурой текста, способами достижения композиционной целостности, интонационного единства и т. п.», утверждает, что писатель успешно решает поставленные проблемы, что это «уникальный художественный гений», создавший произведения с «глубинным духовным началом»¹²⁸.

Но в минуты тревожных **сомнений** и предельной **искренности** Шаламов в записных книжках и письмах пишет и другое:

«Дальний Север <...> изуродовал и сузил мои поэтические интересы и возможности» (5, 82); «По поводу своих стихов я никогда не получил ни одного письма от ценителей и любителей — настолько это ничтожный малоценный товар» (5, 341); «Неописанная, невыполненная часть моей работы огромна. Это описание состояния, процесса — как легко человеку забыть о том, что он человек <...>. Все не описано, — да и самые лучшие Колымские рассказы — все это лишь поверхность, именно потому, что доступно описано» (5, 322, 323); «Я 20 лет жизни потратил на северные скитания. Багаж мой мал, случаен, я — недоучка, навечно, невежда. Значительность чисто случайна, о литературных достоинствах мне и думать нельзя. Но мне есть что сказать, и мне кажется, что на мир я гляжу своими глазами» (6, 219); «Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство...» (6, 361); «...пытаюсь поставить вопрос о новой прозе. Я не пишу воспоминаний и рассказов тоже не пишу. Вернее, пытаюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой» (6, 400); «Я ненавижу литературу» (6, 403).

В минуты **мучительных размышлений** и реальной, критической оценки своих произведений, когда, по свидетельству И. Сиротинской, в 70-е годы он изредка говорил, видимо, имея в виду прежде всего литературную форму: «*Да что рассказы — нет в них ничего особенного*»¹²⁹, — в такие минуты Шаламов записывает:

Много, слишком много сомнений испытываю я. <...> Нужна ли будет кому-либо эта **скорбная повесть**? Повесть не о духе победившем, но **о духе растоптанном**. Не утверждение жизни и веры, подобно «Запискам из Мертвого дома», но **безнадежность и распад**. <...> Мой опыт разделен миллионами людей. Не подлежит сомнению, что среди этих миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее, и память

¹²⁷ Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции. М., 2009. С. 202.

¹²⁸ Жаравина Л. В. «У времени на дне». С. 6.

¹²⁹ Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. С. 15.

лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче, чем я. <...>

В человеке гораздо больше **животного**, чем кажется нам. Он много примитивнее, чем нам кажется <...> В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация слетает, как шелуха, и **звериное биологическое** начало выступает в полном обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за жизнь в ее непосредственной, примитивной форме.

Как рассказать об этом? Как заставить понять, что мышление, чувства, действия человека просты и грубы, что его **словарь сужен**, а чувства его притуплены? <...>

Как показать, что **духовная смерть** наступает раньше физической смерти? И как показать **процесс распада** физического наряда с распадом духовным? <...>

На каком языке говорить с читателем? Если стремиться к подлинности, к правде — **язык** будет **беден, скуден**. <...> Я думал обо всем покорно, тупо. <...> я не боялся смерти и спокойно думал о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы — словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это была? Это было какое-то инстинктивное, примитивное мышление. Как вернуть себя в это **состояние** и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка — это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости. <...> Я буду стараться дать **последовательность ощущений** — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения (4, 439—443).

Шаламов, стараясь быть предельно искренним и правдивым, рассказывает сознательно обедненным языком, без «литературных украшений», рассказывает так, как будто «узкую тропку» протаптывает «по снежной целине» («**По снегу**», 1956), рассказывает о духовно мертвом мире физически еще живых людей в сталинских лагерях, идущих по «смертной тропе», рассказывает об аде Колымы:

— где царствует смерть и проявляется только «второй, ночной облик мира», в котором существует «дьявольская гармония» природы, а дневной мир жизни остался «за горами, за морями», остался в прошлом и теперь кажется несчастным заключенным «каким-то сном, выдумкой», где исчезает «человеческое сознание» и возникает полное «равнодушие» ко всему, кроме еды, и человек живет только «страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища» («**Ночью**», 1954);

— где люди «дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь», где «каждый за себя» и есть «полное безразличие <...> к любой перемене в своей судьбе», где «уменьше красть — это главная добродетель во всех ее видах» («**Одиночный замер**», 1955);

— где блатные после «тюремной карточной битвы» из-за свитера убивают заключенного Горюнова, а у его напарника (повествователя рассказа) это не вызывает никаких эмоций, никаких человеческих чувств, но только одну короткую мысль: «Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров» («**На представку**», 1956);

— где человек существует только благодаря «великому инстинкту жизни» и понимает «самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание <...> а потому, что он был физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало служить началу физическому» («**Дождь**», 1958);

— где «все человеческие чувства» очень быстро уходят «за время продолжительного голодания» и остается только «злоба — самое долговечное человеческое чувство», где «великое равнодушие» овладевает всеми и приходит понимание того, что «правда и ложь — родные сестры», где все «были отравлены Севером навсегда» («**Сухим пайком**», 1959).

И эти идеи рассказов первого и лучшего цикла в книге, отражающие **ядро** всей «колымской эпопеи» (при наличии и других идей и мотивов), много раз варьируются

в рассказах последующих циклов, в которых периодически появляются разные персонажи с одинаковыми фамилиями, одни и те же реплики приписываются разным людям, сюжеты одних рассказов отрывками появляются в других, в которых автор-повествователь предстает в персонажах-двойниках (Андреев, Голубев, Крист, Сазонов), и «одни и те же события и люди подаются с разных — порой противоположных — точек зрения»¹³⁰.

И тогда получается антипсихологическая «**мертвая проза**»¹³¹, бесстрастно рассказывающая о «царстве мертвых, царстве смерти»¹³². И тогда действительно как будто обнаруживается «художественная пропасть» (Е. Михайлик) между произведениями Шаламова (которые В. Есипов называет «великолепной прозой»¹³³) и Солженицына, но только с противоположным знаком, пропасть между «**мертвыми**» рассказами Шаламова¹³⁴, в которых за редким исключением нет живых людей со своим внутренним миром, своим прошлым и своей биографией, «нет описаний, нет характеров, нет портретов, нет развития характеров» (6, 314), в которых в результате разрушительного воздействия лагеря на сознание и мышление автора (рассказчика)¹³⁵ и героев его произведений происходит «сбой на грамматическом уровне» и «спотыкающаяся, неловкая, затрудненная речь организует столь же неуклюжее, неровное повествование»¹³⁶, и «**живой прозой**» Солженицына, «*живой водой*» христианского писателя.

И эта «пропасть» подтверждается уже тем фактом, что о первом же опубликованном рассказе Солженицына, написанном «великолепным народным, просторечным языком» (С. Артамонов), рассказе, который К. Чуковский назвал «литературным чудом» и в котором дан «лагерь глазами мужика» (А. Берзер), который был воспринят как «подлинная энциклопедия жизни советского каторжного лагеря начала 50-х годов» (П. Спиваковский) и появление которого «было величайшим событием социальной жизни России» (А. Белинков), в котором животному, «шаламовскому» полюсу в лице «*шакала*» Фетюкова противопоставлен идеальный, духовный полюс в образе **Алешки-баптиста** («...прославляй Бога за такую участь»; «*Молиться надо о духовном: чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал <...> Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!*»), который О. Павловым осмыслен как «христианская проповедь»,

¹³⁰ Михайлик Е. В контексте литературы и истории // Шаламовский сборник. Вып. 2. С. 124.

¹³¹ «Ко всей существующей лагерной литературе Шаламов в „Колымских рассказах“ — антипод. <...> Он пишет так, как если бы был мертвым» (Синявский А. Срез материала // Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 227, 228).

¹³² Шкловский Е. А. Варлам Шаламов. М., 1991. С. 32.

¹³³ Есипов В. Шаламов. М., 2012. С. 64.

¹³⁴ О. Ивинская в письме к Шаламову дала им такую оценку: «...рассказы не хорошие и не плохие, они просто странные» (6, 219).

¹³⁵ Ср. следующие высказывания: «Его [рассказчика. — В. В.] сознание так же подвержено распаду, как и любой другой структурный или значащий элемент текста. Он существует в обстоятельствах рассказа — а потому вся исходящая от него информация является сомнительной...» (Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым. С. 113); «Может быть, Шаламов единственный, кто в лагерях уничтожения возвысился до исследования себя самого, низведенного до уровня животного. Последнее, что осталось в нем, — злость. Но едва условия чуть улучшились, возникло полусознание и равнодушие, которое ему сопутствовало» (Шурмак Гр. «Наш спор — не духовный...» // Русская мысль. Париж, 1999. 9—15 сентября. С. 13); «Шаламов, вероятно, осознал, что он — тот единственный побежденный, погибший, жертва в своем чистейшем проявлении, которая оставляет миру свое свидетельство о массовой гибели» (Апанович Ф. Система рассказчиков в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. С. 231).

¹³⁶ Михайлик Е. В контексте литературы и истории. С. 109.

как «христианское послание миру», как «молитва о русском человеке»¹³⁷, об этом рассказе вышло уже четыре книги статей критиков и литературоведов¹³⁸.

«Новую прозу» с теми задачами, которые сформулировал Шаламов, в определенной степени создал именно Солженицын. Это не только его «художественные исследования», две эпопеи — «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо» (где, по словам П. Фокина, «художественное исследование располагается на стыке науки и литературы»¹³⁹, а сам жанр предполагает возможность вариативного прочтения этих произведений разными категориями читателей — чтения выборочных страниц и глав, раскрывающих отдельные сюжетные линии), — в первой из которых автор предстает и «летописцем собственной души», и летописцем истории лагерной системы, а во второй — истории Февральской революции, но и, казалось бы, чисто художественная проза (рассказы, повесть «Раковый корпус» и роман «В круге первом»), где автор органично соединяет документальное и художественное, реальные события и ситуации с художественным вымыслом, когда в литературных героях легко угадываются реальные лица. Художественное творчество Солженицына является, по словам И. Виноградова, «почти документальным свидетельством о жизни», и «установка на свидетельскую достоверность рассказанного <...> поистине господствует в художественных изображениях Солженицына»¹⁴⁰.

В «Колымских рассказах» Шаламов, в отличие от Лермонтова, Толстого, Достоевского, Солженицына, не исследует внутренний процесс борьбы между добром и злом в душе человека, а только дает фрагментарное изображение отдельных состояний души в «нечеловеческих условиях», показывает множественные проявления зла в поступках своих героев и очень редкие проявления человеческого, нравственного, доброго.

Например, в рассказе «**Тифозный карантин**» (1959), которым заканчивается первый цикл, автор рассказывает о том, как в тайге, на золотых приисках человек неизбежно становится «живым товаром», «бесправным рабом», быстро превращающимся в «арестантский шлак», в живого мертвеца, как человек выживает только благодаря «звериной хитрости» и «звериному инстинкту», как, кроме «равнодушной злобы», ничего не остается в его душе и внезапная смерть оказывается только «благодетельной случайностью». Сначала кажется, что и Андреев, главный герой рассказа, «был представителем мертвецов». Но нет. Его душа была еще живой, и он многое хорошо понимал:

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что, как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть; эти возможности — реальность, они могут спасти жизнь при случае. <...>

Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии и в лагере.

¹³⁷ Павлов О. Революция Солженицына: «Один день Ивана Денисовича» как христианское послание миру // Международная научная конференция «„Ивану Денисовичу“ — полвека». М., 2013. С. 220–224.

¹³⁸ «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст. Благовещенск, 2003; «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник (1962–2012). М., 2012; «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма читателей: 1962–1964. М., 2012; Международная научная конференция «„Ивану Денисовичу“ — полвека». М., 2013.

¹³⁹ Фокин П. Александр Солженицын. Искусство вне игры // Между двумя юбилеями. С. 522.

¹⁴⁰ Виноградов И. И. Солженицын-художник (1993) // Виноградов И. И. Духовные искания русской литературы. М., 2005. С. 650.

<...> что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

Благодаря природному инстинкту жизни Андреев выживает, спасается в этом «*тифозном карантине*»: «*Это был грозовой молниенный свет, указавший дорогу к спасению*». Андреев (за которым стоит автор) почувствовал себя частью природы, может быть, благодаря и поэтическому дару. И он не просто выжил:

На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз благословлял ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово *они* в этой фразе, единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Наверное, благодаря именно таким рассказам Ф. Вигдорова имела право в письме к Шаламову, которое распространялось в самиздате, сказать:

Я прочитала ваши рассказы. Они самые жестокие из всех, что мне приходилось читать. Самые горькие и беспощадные. Там люди без прошлого, без биографии, без воспоминаний. Там говорится, что беда не объединяет людей. Что там человек думает только о себе, о том, чтобы выжить. Но почему же закрываешь рукопись с верой в честь, добро, человеческое достоинство? Это таинственно, я этого объяснить не могу, я не знаю, как это получается. Но это — так¹⁴¹.

При чтении «**Колымских рассказов**» как будто обнаруживаются в композиции всего цикла определенные закономерности, требующие проверки и подтверждения, для чего необходимо отдельное исследование:

соотношение «добра» и «зла» в каждом из пяти циклов последовательно меняется в сторону увеличения зла, причем в «Очерках преступного мира» существует только зло и беспросветная тьма, поэтому логичнее было бы расположить этот цикл в конце книги;

количественное соотношение разных жанров — рассказ, очерковый рассказ и очерк¹⁴² — от цикла к циклу неуклонно меняется в сторону увеличения очерков (что уже отмечено многими исследователями); соответственно меняется и соотношение художественного вымысла и документальной достоверности (а это уже серьезная проблема для современных шаламоведов);

«средний» художественный уровень произведений в каждом цикле постепенно снижается при увеличении среднего объема одного текста¹⁴³, и связано это, видимо, с обострением болезней автора (болезни тела, души и сознания).

¹⁴¹ Геллер М. Последняя надежда // Шаламовский сборник. Вып. 1. С. 221.

¹⁴² Многие исследователи основным жанром «лагерной эпопеи» Шаламова считают новеллу, что нам представляется неубедительным. Например, И. Сухих утверждает: «Новелла — жанровая доминанта «новой прозы», эстетическое ядро „Колымских рассказов“. В. Шаламова можно назвать одним из самых значительных русских новеллистов XX века» (Сухих И. Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех. СПб., 2016. С. 504).

¹⁴³ Уточним: по нашим подсчетам, средний объем одного текста в цикле «Колымские рассказы» — 5 с., «Левый берег» — 6,6 с., «Артист лопаты» — 8 с., «Воскрешение лиственницы» — 5,3 с., «Перчатка, или КР-2» — 8 с. По мнению Вяч. Вс. Иванова, «лучшие его рассказы не больше страницы-двух. Но это не миниатюры, а куски кровоточащей действительности» (Иванов Вяч. Вс. Авва-

Подводя определенные итоги осмысления основных расхождений между Солженицыным и Шаламовым и выстраивая необходимую иерархию, можно говорить о существенных различиях этих писателей на разных уровнях человеческого бытия:

— религиозно-духовном (религиозное, христианское мировоззрение одного и атеистическое, пессимистическое — другого, что предопределяет противоположное решение проблемы добра и зла в человеке и в мире, проблемы смысла жизни);

— философско-идеологическом уровне сознания (с одной стороны, страстное обличение коммунистической идеологии, с другой — верность идеалам революции и симпатия к революционерам-террористам; разные взгляды на русскую и советскую историю);

— нравственно-психологическом уровне состояния души (например, утверждения о принципиально разном влиянии тюрьмы и лагеря на человека; разное отношение к родителям, к семье и детям);

— социальном уровне (в частности, противоположное отношение к интеллигенции и крестьянству, к физическому труду);

— эстетическом уровне (разное отношение к искусству и литературе, к русскому языку и фольклору, к словарю Владимира Даля, к использованию иностранных слов в русском языке; разные художественные методы в творчестве и существенные отличия в поэтике, в стиле).

Символом художественного слова Шаламова является мертвое слово «сентенция», которое вдруг пришло «из глубины мозга» после целого ряда вернувшихся чувств — равнодушие, страх, зависть («любовь не вернулась ко мне») — как будто воскресшего героя (до этого сохранившего только злобу) в рассказе «Сентенция» (1965), которым заканчивается цикл «Левый берег»:

Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

— Сентенция! Сентенция!

И захохотал.

— Сентенция! — орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретенно вновь — тем лучше, тем лучше! Великая радость переполняла мое существо.

Но это не Божье, не библейское слово. Оно из словаря в массе своей атеистической интеллигенции и, вопреки утверждению Л. Жаравиной, не является «молитвенным словом», «символом восстановления личности»¹⁴⁴, ибо в художественном мире Шаламова, по словам самого писателя, «возвращение к жизни безнадежно и не отличается от смерти» (6, 491). В «Колымских рассказах» читатель найдет много разных и часто беспощадных к человеку «сентенций», а одна из главных озвучена в рассказе «Дождь» (1958): «*Слушайте, — кричал он, слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...*»

А **живое слово** Солженицына звучит как колокол Углича из блистательных «Крохоток», написанных в конце 90-х годов:

И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутненным душам <...>

кумова доля // Избр. труды по семиотике и истории литературы. Т. III. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 743).

¹⁴⁴ Жаравина Л. В. «У времени на дне». С. 13. А в восприятии Е. Волковой этот рассказ является «гимном памяти, слову, жизни» (Волкова Е. Цельность и вариативность книг-циклов // Шаламовский сборник. Вып. 2. С. 143).

Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвестили Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравнения: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь (1, 559).

И в заключение отметим, что подобно тому как в русских народных сказках для воскресения главного героя необходимы мертвая и живая вода, так и современному читателю для необходимых очистительных страданий, для раскаяния и христианского смирения, для преображения собственной души необходимы и **«мертвая проза»** Шаламова, с ее жестокой правдой о превращении в аду колымских лагерей человека в животное, в зверя (исключение — *«религиозники»*), и **«живая проза»** Солженицына, сохраняющая в душе человека веру, надежду, любовь и несущая свет божественной Истины, художественное и публицистическое слово великого христианского писателя¹⁴⁵, слово, противостоящее деградации и вырождению человека в современном мире. Как отметил В. Распутин, «он так много сказал, и так хорошо, точно сказал, что теперь только слушать, внимать, понимать»¹⁴⁶.

¹⁴⁵ «Духовный центр личности Солженицына, обеспечивающий столь очевидное и мощное единство его жизненной и творческой судьбы, лежит, несомненно, в области его религиозного мироощущения, миропонимания и самосознания» (Виноградов И. И. Указ. соч. С. 645).

¹⁴⁶ Распутин В. Г. Неустанный ревнитель // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. Вып. 5. М., 2016. С. 266.